
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ИОАННОВНЫ

Кабинет. - Сенат. - Коллегии. - Областное управление. - Войско. - Срок дворянской службы. - Распоряжение об отставных беспоместных людях. - Рекрутские наборы. - Флот. - Финансы. - Промышленность. - Деятельность Татищева на сибирских горных заводах. - Крестьяне. - Первый банк. - Правосудие. - Полиция. - Пожары. - Повальные болезни. - Разбои. - Нравы и обычаи. - Образование. - Кадетский корпус. - Академия наук. - Российское собрание. - Тредиаковский. - Манкиев. - Татищев. - Кантемир. - Феофан Прокопович; его последние борьбы и кончина. - Духовенство.

Мы видели, что в 1731 году был учрежден Кабинет для лучшего отправления дел, подлежащих решению императрицы. Тайные дела еще прежде были взяты у Сената и переданы в особую Канцелярию тайных розыскных дел, и в январе 1734 года велено главной Полицеймейстерской канцелярии быть в дирекции одного Кабинета; в сентябре 1739 года принадлежащие Кабинету дела велено расписать по экспедициям, "дабы впредь конфузии происходить не могли". По смерти канцлера графа Головкина Остерман назывался *первым* кабинет-министром. Жалованья кабинет-министры получали по 6000 рублей. Двор переехал в Петербург, но сначала думали или, вероятнее, хотели заставить думать, что это переселение временное, и потому только часть сенаторов была взята в Петербург, другая оставлена в Москве, здесь же оставлена и Тайная канцелярия, но уже в августе 1732 года Тайная канцелярия переведена была в Петербург, в Москве только оставлена ее контора. В ноябре 1732 года обер-прокурор Анисим Маслов подал репорт: "Ныне в Петербурге сенаторов семь человек, только полного собрания никогда не бывает, и редко случается, чтоб было три или четыре человека, обыкновенно же по два, прочие же не присутствуют, одни за болезнью, другие за дежурством при дворе, иные обязаны другими делами, и хотя к отсутствующим дела посылаются на дом, однако за болезнями дел слушать и резолюций крепить не могут, которые же государственные дела требуют основательного рассуждения, по таким без общего собрания, заочно согласить очень трудно". Между прочим, Маслов доносил, что вотчинная глава нового Уложения сочинена определенными в Москве членами, а в Петербурге не слушана за всегдашним неполным сенатским собранием и таким образом остановилось 209 государственных дел да 289 челобитчиковых. Вероятно, вследствие этого представления в июне 1733 года велено оставшимся в Москве сенаторам со всею канцеляриею быть в Петербурге и присутствовать в общем собрании, в Москве же оставить от Сената контору, в которой из сенатских членов быть генералу и обер-гофмейстеру графу Солтыкову; он должен был иметь то же самое значение, какое имел с

1723 года остававшийся в Москве сенатский член, т. е. первенствующее значение.

Сенаторы переехали в Петербург с старою привычкою - съезжаться поздно в заседание и разъезжаться рано; в 1733 году императрица "накрепко повелела" съезжаться в Сенат всем в одно время, именно в семь часов пополуночи, и оставаться пять часов, до первого часа пополудни. В 1737 году сенаторы положили съезжаться в 8 часов пополуночи, а уезжать в час пополудни. Члены коллегий и канцелярий не смели уезжать из своих мест, пока сенаторы присутствовали в Сенате. Но в 1739 году опять указ, в котором говорится, что сенаторы приезжают не в указные часы, очень поздно, уезжают рано, а некоторые редко и ездят; поэтому велено съезжаться по регламенту и сидеть до второго часа пополудни и для самых нужных дел съезжаться и пополудни в четвертом, а выезжать в седьмом часу. Сначала велено было кандидатов в городские воеводы и в секретари к разным делам представить для утверждения в Кабинет, но в начале 1734 года Сенату возвращено было право определять воевод и секретарей без представления императрице. В 1736 году императрице донесли, что в Москве не только в коллегиях и канцеляриях, но и в Сенатской конторе дела решаются не только медленно, но и большею частию "по партикулярным страстям"; графу Солтыкову прислан был указ: "При отъезде нашем во всемилостивейшей на вас надежде нарочно для того вас оставили в Москве, чтоб накрепко смотреть, дабы дела во всех судебных местах порядочно отправлялись, потому мы обо всем этом с великим неудовольствием узнали, и ныне накрепчайше вам подтверждается смотреть чтоб дела не проволакивались, особенно же чтоб правосудие безо всяких взяток везде отправлялось; если же вашим несмотрением и нерадением впредь такие же непорядки происходить и судьи дела по страстям решать будут, то вы за то пред нами в ответе будете". В 1736 году возобновлено было учреждение Петра Великого - Чрезвычайный, или Высший, суд вследствие просьбы князя Константина Кантемира, что дело его с мачехою о четвертой ее части после мужа решено неправо. Членами суда были назначены: адмирал граф Головин, обер-шталмейстер князь Куракин, обер-егермейстер Волынский, гофмаршал Шепелев и генерал-полицеймейстер Солтыков; в суде присутствовала сама императрица; суд списывался с Кабинетом сношениями, а в Сенат, коллегии и все прочие места посылал указы. Вышний суд нашел, что дело в Сенате было решено неправильно, и обвинен был обер-секретарь сенатский, зачем не представлял сенаторам о неправильности их рассуждений и, если представлял, зачем не записал своих представлений в журнал.

Сенаторов понуждала сама императрица добросовестнее исполнять свою должность, приезжать не поздно и уезжать не рано, а сенаторы в свою очередь слали строгие указы в коллегии против поздних приходов и ранних выходов их членов, предписывали последним приезжать и уезжать по регламенту, ибо прокуроры жаловались, что интересные (денежные) и о колодниках дела отправляются медленно, составление счетов и репортов

идет слабо. В 1737 году коллегиям возвращено право штрафовать губернаторов, "дабы губернаторы в порученных им делах, в сборах и по посланным указам в ответах прилежно и рачительно поступали".

За то губернаторам дано было право штрафовать своей губернии воевод, если который из них также законных причин не представит. В 1733 году издан был указ о должности губернского прокурора. "Смотреть ему накрепко, дабы губернатор с товарищи должность свою хранили и в звании своем истинно и ревностно без потери времени все дела порядочно отправляли; также смотреть накрепко, чтоб в канцелярии не на столе только дела вершились; смотреть, чтоб в судах и расправах праведно и нелицемерно поступали, а ежели что увидит противное этому, должен тотчас предлагать губернатору с товарищи с полным изъяснением, в чем они не так делают, и они обязаны исправить; если же не послушают, то прокурор должен протестовать письменно, дело остановить и немедленно письменно генерал-прокурору донести, а губернатор с товарищи должны себя очищать и в Сенат обстоятельно писать. Прокурор должен иметь крепкое смотрение, чтоб губернатор с товарищи всем доходам имел окладную книгу и чтоб все доходы собирались на определенные сроки сполна без доимки, также чтоб всякие откупы и подряды делались порядочно, без потери времени, к лучшей казенной пользе; смотреть, чтоб в Губернской канцелярии колодников долговременно и без решения дел не держали; должен все доношения, от кого бы ни были, касающиеся интересов ее величества, принимать и по ним инстиговать и, если где будет пренебрежено и опущено, немедленно доносить генерал-прокурору, и, "единым словом, сей чин - око генерал-прокурора в той губернии". Если же в чем поманит или иначе должность свою ведением и волею преступит, то смертию казнен или с вырезанием ноздрей в вечную работу сослан и всего стяжания лишен будет". В этом указе упоминаются товарищи губернаторские: из резолюции кабинет-министров на доклад Сената 1736 года узнаем, что товарищи при губернаторах уже определены, но так как жалованье и ранги им не назначены, то теперь положено впредь до сочинения штата давать им по 300 рублей в год и быть им в ранге коллежских советников. В 1737 году губернаторы получили право, не описываясь в Сенат, определять воевод и воеводских товарищей, дабы в делах не было остановки, а по определении писать в Сенат.

Мы видели, что когда двор переехал в Петербург, то Москва была поручена родственнику императрицы, генералу, сенатору графу Семену Андреевичу Солтыкову; видели, что императрица была не очень довольна управлением Солтыкова; в 1739 году Сенату дан был указ: "Понеже мы Москву, яко первую и главнейшую в государстве губернию, генерал-губернатором паки снабдить и к такому чину особливо при происшедших в оной губернии доньине упущениях и для поправления оных знатную особу определить за благо и потребно рассудили, того ради мы к тому нашего генерал-фельдмаршала князя Трубецкого, будучи надежны на его ревностное и прилежное в том рачение, избрать соизволили и потому

определили ему быть в Москве генерал-губернатором и присутствовать ему в Сенатской там конторе так, как он здесь в Сенате был".

Два царствования - Екатерины I и Петра II - прошли мирно, если не считать незначительных военных движений в странах прикавказских, но в царствование Анны Россия вела две тяжелые войны, и потому мы вправе ожидать усиленной деятельности правительства относительно военного устройства. Постоянная вооруженная сила еще не привыкла себя сдерживать среди мирного народонаселения и своими часто безнаказанными насилиями вызвала самоуправство со стороны последнего: в указе 1732 года императрица жалуется, что боярские люди и из других чинов, также компанейщики в Москве нападают и дерутся с гвардейскими солдатами, увечат и даже убивают их. Военная комиссия, бывшая под председательством Миниха, распорядилась, чтоб с января 1732 года жалованье русских офицеров сравнено было с жалованием иностранных офицеров, служивших в русском войске. Несмотря на то, русские люди продолжали всеми средствами отбывать от военной службы. В 1732 году правительство должно было объявить, что многие недоросли у герольдмейстера не явились и в службу не определены, живут в домах своих праздно; также многие из морского флота, из гвардии и армии штаб- и обер-офицеры оставлены молодые, а к герольдмейстеру не отосланы и к делам никуда не определены. Недоросли из дворян, отбывая от службы, записывались в купечество: в 1736 году велено одного такого недоросля взять из купечества и отдать в солдаты в гарнизон, а с бурмистров и секретаря ратуши, которые его записали в купечество, взять 100 рублей штрафа. В том же году правительство объявило, что многие офицерские, дворянские, солдатские, рейтарские, козачьи, пушкарские и всяких служилых людей дети под разными видами кроются, а некоторые из них вступают в дворовую службу к разным чинов людям и переходят из города в город, дабы звание свое утаить и тем от службы отбыть; от таких людей вперед никакого добра ожидать нельзя, ибо праздность всему злу есть корень, что и на самом деле обнаруживается: многие из них уже пойманы на воровствах и в других дурных делах. Для малолетних велено учредить школы, чтоб все служилых отцов дети, имея надежное пропитание, обучались, кто к каким наукам склонность имеет, дабы со временем не только государству могли быть полезны, но и сами себе теми науками пропитание снискать могли, но они от наук бегут и сами себя губят.

Но никакие меры против отбывания от службы не помогали, и потому сочли необходимым удовлетворить всеобщему желанию дворянства ограничить срок военной службы и дать возможность некоторым вовсе не вступать в нее. В представлении, поданном в Кабинет неизвестно кем, говорилось: "В отлучении всего шляхетства от своих домов всеми их домами и деревнями владеют приказчики и старосты, которые непорядками своими помещиков и крестьян разоряют, шляхетство своим фамилиям вспоможения учинить не может, а в крестьянских сборах доимки, крестьяне помещикову и свою пашню запускают, в воровствах и

разбоях являются, тюрьмы таковыми везде наполнены. Надобно определить двойное число обер-офицеров и расписать в полки пополам, отпустить одну половину в дома без жалованья, а другой половине быть три года в полку неотлучно. Притом не соизволено ли будет некоторое определенное время положить, сколько в военной и штатской службе быть, а потом отставлять: то б всякий с прилежанием и охотою службу свою отправлял в такой надежде, что, ежели бог веку его продолжит, будет иметь время деревнями своими довольствоваться и веселиться и экономии свои исправлять, а из сего еще польза: 1) особливых офицеров и солдат на вечных квартирах держать не для чего, но всякий помещик вначале в своих деревнях порядочный сбор подушных денег установить и деревни в лучшее состояние привести может; 2) охранены будут крестьяне от воеводских и приказных лишних сборов и нападков; 3) может всякий помещик сам подушный оклад без высылки заплатить; 4) крестьян от воровства удерживать не потребны будут сыщики, от которых не меньше офицерского бывает обывателям разорения". Мы знаем, что первая половина проекта не была новостью: так распоряжались, хотя на других основаниях, при Екатерине I, но теперь предпочли вторую половину, и в последний день 1736 года издан был манифест, составивший эпоху в истории русского дворянства в первой половине XVIII века: "Всемиловитейше указали мы для лучшей государственной пользы и содержания шляхетских домов и деревень следующий порядок учинить: 1) кто имеет двух или более сыновей, из оных одному, кому отец заблагорассудит, оставаться в доме для содержания экономии; также которые братья родные два или три, не имея родителей, пожелают оставить в доме своем для смотрения деревень и экономии, кого из себя одного, в том давать им на волю, но чтоб те оставшиеся в домах довольно грамоте и по последней мере арифметике обучены были, дабы оные в гражданской службе годны были; 2) прочие все братья, сколь скоро к воинской службе будут годны, должны вступить в военную службу. Но понеже какое время быть в воинской службе, по сие время определение было не учинено, и отставляются весьма старые и дряхлые, которые, приехав в свои дома, экономию домашнюю как надлежит смотреть уже в состоянии не находятся; и для того всем шляхтичам от 7 до 20 лет возраста их быть в науках, а от 20 лет употреблять в военную службу, и всякий должен служить в воинской службе от 20 лет возраста своего 25 лет, а по прошествии 25 лет всех, хотя кто еще и в службу был годен, от воинской и статской службы отставлять с повышением одного ранга и отпускать в дома, а кто из них добровольно больше служить пожелает, таким давать на их волю; 3) которые шляхтичи за болезнями или ранами по свидетельствам явятся к службе неспособны, могут быть отставлены и отпущены в дома свои и до урочных лет. А понеже ныне с турками война, то отставлять по вышеписанному только по окончании войны".

В начале следующего, 1737 года был издан дополнительный указ: всем недорослям от семи лет являться и записываться в Петербурге у герольдмейстера, а в Москве и губерниях у губернаторов, которые по

окончании каждого года присылают свои записные книги к герольдмейстеру; потом недоросли должны явиться в другой раз, когда им минет 12 лет, причем должны быть обучены чтению и письму, и если отец или родственники пожелают обучать их долее в своих домах, то позволять только с обязательством, чтоб к следующему смотру были обучены закону божию, арифметике и геометрии основательно; если же отец или родственники такого обязательства взять на себя не захотят, то записывать детей по их склонности в государственные академии и другие школы. Третий смотр в 16 лет: тут недоросли могут являться только в двух местах - в Петербурге и в Москве, где в Сенате их свидетельствуют, и если окажется, что арифметике и геометрии они обучены основательно, а родители и родственники пожелают и доле обучать их в домах, то отпускать их до двадцатилетнего возраста, но опять с подпискою, чтоб обучались географии, фортификации и притом истории; если же родители или родственники такой подписки не дадут, то брать детей и определять до урочных лет в государственные академии для обучения географии, фортификации и истории; и которые на смотре с 16 лет явятся более способными к гражданской службе, таких определять в эту службу по усмотрению Сената. Тут же, на смотре в 16 лет, родители и родственники должны указать тех недорослей, которых хотят оставить дома для экономии, и на последний смотр их представлять уже не обязаны. Если на смотре в 16 лет недоросли окажутся необученными, то их определять в матросы без выслуги, не исключая и тех, которые будут назначены оставаться дома для хозяйства по имению, потому что им арифметику и геометрию особенно знать нужно для порядочных счетов в домашней экономии, для землемерия и защиты прав своих, чтоб не уклоняться по невежеству в богомерзкие ябеды, от которых происходят напрасные убытки и разорения; да и какой пользы в домашней экономии можно ожидать от того, кто никакого радения не показал при изучении таких нетрудных и полезных наук. В 20 лет последняя явка в герольдии для определения в военную службу, и те, которые более успели в науках, должны быть скорее других произведены в чины в награду за прилежание. По поводу этих указов Сенат в 1737 году сообщил в Кабинет, не повелено ль будет указом ее величества выбрать недорослей из шляхетства в Сенат, коллегии и канцелярии для обучения приказных дел и содержать их таким образом: из недорослей от 15 до 17 лет, умеющих читать и писать, за которыми не меньше 100 душ, выбрать в Сенат, а за которыми не меньше 25 душ - в коллегии и канцелярии, чтоб они могли не только определенным им жалованьем, но и своими собственными доходами содержать себя честно, чисто и неубого; к тому же между канцелярскою должностию обучаться и другим наукам, приличным шляхетству, чем могут подать и другим охоту искать определения в статские чины. Хотя они определятся сначала в копиисты и жалованье копиистское будут получать, но должны называться дворянами Сенатской канцелярии или дворянами такой-то коллегии или канцелярии, чем могут придать другим охоты и отвести от себя нареkania и уничижения приказных людей (т. е.,

как мы думаем, нарекание и уничтожение, связанное с должностно приказных людей). Жалованье получают год копиистское, два года-подканцеляристское, два года - канцеляристское, а по прошествии 5 лет достойных производить в секретари. Если в течение этих пяти лет некоторые окажутся неспособными к гражданству, таких отсылать в Военную коллегия для определения в военную службу. Кабинет отвечал, что так как по этому предмету довольно указов издано, то не следовало бы и требовать мнения от Кабинета. Несмотря на то, Кабинет согласен с представлением Сената, только с таким изъяснением, чтоб выбраны были к тем делам люди достойные, грамоте довольно знающие и чисто писать умеющие, чтоб они в бытность свою при делах в первые годы хотя и не будут называться копиистами, подканцеляристами, однако должности свои исправляли, как и другие, в том иметь за ними крепкое смотрение, и, если кто по окончании первого же года явится достоин, такого вести далее, в противном случае отсылать немедленно в Военную коллегия для определения в полевые полки в солдаты.

По окончании войны охотников воспользоваться законом о двадцатипятилетнем сроке явилось слишком много; подавали просьбы об отставке молодые люди, едва достигшие тридцати лет, но записанные в полки 10 или 12 лет и с тех пор считавшие годы своей службы. Это заставило правительство (7 августа 1740 года) распорядиться, чтоб отставки как от военной, так и от гражданской службы давались только в Сенате, причем генерал-прокурору князю Никите Юрьевичу Трубецкому было предписано "смотреть накрепко, чтоб вместо немощных здоровые, вместо экономии для одной праздности от службы никто освобожден не был". Поставлено на вид, что указ 31 декабря 1736 года касается только тех, "которые в продолжение 25 лет служили верно и порядочно, как верным рабам и честным сынам отечества надлежит, а не таких, которые всякими способами от прямой службы отбывали и время втуне проводить искали". Генерал-прокурору велено было поступать по следующим пунктам, которые он должен был держать в секрете: 1) прежде отставки подлинно осведомиться о прямых офицера летях; 2) смотреть, чтоб начало службы сочтено было от 20 лет, и то, если кто с того же года и служить начал, ибо если бы кто и прежде 20 лет был записан в службу, то этого ему, как малолетнему, зачтено быть не может; если же вступил в службу старше 20 лет, то считать с года вступления в действительную службу; 3) рассмотреть, просящиеся в отставку действительно ли и порядочно ли при армии служили и свои чины от солдатства службою своею и прямым порядком получали; также осведомиться о домашних их нуждах, до экономии касающихся, и только тогда отставлять; 4) если будут проситься в отставку такие, которые хотя военными слыли, однако военную службу при армии действительно не отправляли и в прошедших войнах ни при каких потребах не бывали, а по летам и здоровью своему служить в состоянии, таких не отставлять, ибо несправедливо было бы, чтоб они с прямо заслуженными людьми при сем случае в равенстве быть могли; 5) чтоб те, которые по прошествии 25 лет порядочной службы хотя об

отставке просить и будут, а по летам и здоровью служить еще в состоянии и люди достойные, к продолжению ревностной своей службы были поощрены, переменять их одним чином, невзирая на их к производству линию; 6) раньше 55 лет от рождения не отставляя тех, которые в военной службе не бывали и в одних статских чинах служили, разве такие явятся, которые никакой службы отправлять будут не в состоянии.

Таковы были распоряжения относительно войска, оставленного старою, допетровскою Россиею, служилых людей, обязанных за свои поместья являться на службу по первому призыву правительства. При новом порядке вещей они были призваны к постоянной службе, и тут явились новые условия: во-первых, необходимость приготовления к службе, образование; во-вторых, необходимость деления на две службы - военную и гражданскую - с различными приготовлениями к обеим; в-третьих, являлся вопрос об экономии, об управлении недвижимой собственностью, огромное количество которой было сосредоточено в руках этих служилых людей. Надобно, следовательно, делить их на три части: одна идет в военную, другая - в гражданскую службу, третья должна оставаться для управления имениями; для последней же цели сокращается и срок службы.

Для земледельцев сокращается срок службы, чтоб они еще с свежими силами могли приняться за управление своими имениями, но что делать с теми, которые по выходе из службы не имеют, чем управлять, не имеют, куда головы приклонить? Петр Великий назначил таким убежища в монастырях, но в русском войске находилось много иностранных офицеров, которые за старостию и ранами отставлялись от службы и не имели средств пропитания. В 1732 году Военная коллегия спросила у Сената, что делать с такими офицерами, потому что им при монастырях для пропитания *по их законам* быть нельзя. Сенат отвечал: "В том никакого предосуждения нет, потому что получать будут пропитание по указам, а до веры их в том не касается". В описываемое время придумано было еще средство давать пропитание отставным служилым людям. В указе 1736 года говорится, что при царях Михаиле и Алексее учреждены были в Новгородском, Белгородском, Севском, Казанском, Симбирском и других разрядах служилые люди прежних служб и дана им поместная земля по их окладам, с которой они конную и пешую службу служили и пограничные места охраняли без жалованья, а теперь служащие в армии и гарнизонах унтер-офицеры и рядовые, не имея надежды, что они по отставке от службы собственное про питание иметь будут, и, смотря на других, свою братью отставных, без определения шатающихся, не так ревностно службу отправляют, а многие и бегают, на разбоях и в воровствах являются. Поэтому мы указали: отставных от службы за ранами болезнями и старостию унтер-офицеров и рядовых и нестроевых селить близ границ на пустых местах, и именно: по Волге и впадающим в нее рекам, на оставшихся от поселения волжских козаков и в других между Царицыном и Астраханью местах, в Казанской губернии, в пригородках - Старом и Новом Шешминске, Заинске, Тинске, Ермклинке, Билярске, по реке

Кондурче, начав от закамской линии до городка Красного Яра, и в других около башкирцев местах. Отводить земли на каждую семью от 20 до 30 четвертей, причем давать ссуды каждой семье от 5 до 10 рублей. Этими землями владеть им, женам и детям их вечно, но в приданое за дочерьми не отдавать, также не продавать и не закладывать. После кого останется сына два или три и больше, из них отцовскую землю наследовать одному, ему же кормить братьев малолетних, и, которые из них возмужают и поспеют в службу, тем отводить особые участки. При неимении сыновей дочери-наследницы, но с своим недвижимым приданым должны выходить замуж за солдатских же детей. Когда эти поселения отчасти умножатся, то при них церкви построить, священников и церковных причетников искусных и ученых определить, при церквях учредить школы для обучения солдатских детей читать и писать, обучать же их тем священникам и церковникам, за что определить им указную плату, а кто из детей пожелает обучаться высшим наукам, таких отсылать в гарнизонные школы и обучать тем наукам, к которым окажут склонность. В начале 1739 года Сенат сообщил в Кабинет, что по разным губерниям отставных находится 4152 человека, но желающих получить землю в указанных местах явилось только шесть человек. На это сообщение последовала высочайшая резолюция: из этих 4152 человек, которые не очень дряхлы и надежда есть, что могут жениться и дома свои содержать, всех отправить на поселение в означенные места и впредь всех отставных солдат туда же посылать. По мысли правительства, выраженной в приведенном указе, дети поселенцев должны были учиться в своих сельских и гарнизонных школах; та же обязанность указом 1738 года была распространена и на всех солдатских детей: обретающихся в школах солдатских детей, которые от 15 лет и выше, всех определить в гарнизонные и полевые полки в солдаты, а оставшихся затем школьников обучать чтению, письму и другим наукам; непонятливых обучать разным художествам и ремеслам, какие при полках потребны. Позаботились и о вдовах обер-офицерских, не имеющих пропитания: их велено определить в женские монастыри белицами, но только таких, которым не менее 50 лет, если увечны и собственного пропитания не имеют.

Рекрут собирали со всех положенных в подушный оклад, кроме однодворцев Воронежской, Киевской, Казанской и Астраханской губерний, потому что из этих однодворцев учреждались ландмилицкие полки; кроме сибирских жителей, из которых набирались тамошние полки, и, наконец, кроме слобод, приписных к Екатеринбургским заводам, потому что отсюда вместо военной службы брали в ученики к горным делам и для охранения заводов. Подтверждалось в указах, чтоб рекрут набирали порядочно, чтоб офицеры принимали их у плательщиков без всяких волокит, в простом платье, какое у кого случится, и никаких бы взяток и приметов не было, но правительство признавалось, что, несмотря на жестокие наказания, несмотря на то, например, что в 1701 году капитан Аладченинов с подчиненными за взятки от приема рекрут по военному суду лишен был офицерского чина, бит кнутом и с вырезанием ноздрей сослан навеки в каторжную работу, приметки и волокиты при приеме

рекрут продолжают, вымогают такого мундира, который принуждены покупать дорогою ценою, также берут взятки деньгами и съестными припасами; некоторые наборщики не принимали объявленных в рекруты людей, а принуждали ставить именно детей и братьев зажиточных крестьян, чтоб вымучить себе больше денег. Правительству оставалось только повторять и усиливать свои угрозы.

В 1732 году подано было в Кабинет мнение, как видно от Миниха, о порядке сбора рекрут. Автор записки говорит, что в настоящее время набор делается таким образом: велено, например, набрать 16000 человек; эти 16000 разделяются на провинции и губернии по пропорции душ мужского пола, и приходится на 320 душ поставить одного рекрута; 320 человек крестьян соглашаются кого-нибудь покупать в рекруты, чтоб никому из них своего брата или сына не поставить; собирается для этого с каждого двора по три или по четыре гривны, и на каждого рекрута придется от 100 до 120 рублей, а с другими подмогами - от 170 до 180 рублей, и, взявши среднее число - 150 рублей, со всех крестьян, обязанных ставить рекрут, придется от двух до трех миллионов. Такими великими деньгами (каких не дается во всей Европе, где крестьяне побогаче русских) нанимается бобыль, ни к чему не годный, часто пьяница, больной или увечный; если же такого нет, то крестьяне ищут какого-нибудь беглого мужика или бурлака. Таким образом деньги отнимаются у лучших крестьян и отдаются негодным бурлакам, армия, флот и артиллерия снабжаются самыми дурными рекрутами; в других европейских государствах годному и добровольному человеку дают задатку по 3, 4 или по 5 рублей, а в России от 150 до 200 дают негодьям, которыми безопасность империи и спокойствие народа охранены быть не могут. Причины, почему в России так мало охотников идти в солдаты или матросы, почему такое отвращение от военной службы, что бегают, пальцы себе срубают и большими деньгами откупаются, суть следующие: 1) во время тяжелой двадцатилетней шведской войны каждая семья должна была отдать в рекруты брата или сына, и не одного, и все эти рекруты погибли на войне или по крайней мере домой не возвратились; 2) от неприятеля столько людей не побито, сколько погибло от дурного распоряжения офицеров, например, при строении Петербургской крепости и Ладожского канала в первые годы; 3) но главная причина та, что солдаты из военной службы не отпускаются до глубокой старости или увечья, так что когда они приходят домой, то родным ни в чем помогать не могут и принуждены питаться от их милостыни; отсюда бегство крестьян от военной службы за границу, так что многие провинции точно войною или моровым поветрием разорены. Зло может искорениться следующим образом: когда, например, 320 душ обязаны поставить одного рекрута, то между ними переписываются все молодые и здоровые люди от 15 до 30 лет, исключая тех домов, где находится один сын, или брат, или родственник, или приемыш; потом бросается жребий, и, на кого падет, тот без отговорки идет в службу; чтоб он шел охотнее, дается ему 10 рублей деньгами от крестьян, а из Военной коллегии выдается уверительное письмо, что если он прослужит 10 лет рядовым и не получит повышения

или сам не захочет долее служить, то ему непременно дана будет отставка. Чтоб меньше было нужды в рекрутах и народу было облегчение, надобно прилежно приискивать всех солдатских и матросских детей и обучать в гарнизонных и других школах, а потом записывать в солдаты и матросы; они крестьянского житья в деревнях не знают и с молодости получают охоту к солдатской жизни, из них будут лучшие рекруты.

В апреле 1733 года кто-то подал в Кабинет записочку: "Слышно, что доимочных рекрут выбирают с 726 года, а надлежало бы с 719; эта доимка оставлена напрасно, ибо подлинно известно, что многие рекрутские подрядчики собрали немалые деньги, сами столько лет корыстуются, а в казну ни рекрут, ни денег не платят, и потому велеть Сенату справиться, для чего эта доимка без рассмотрения оставлена, и, справясь, подать ведомость. Доимку эту выбирать надобно лучше деньгами, которые по рассмотрению можно вменить и в подушный недобор, потому что рекрут довольно будет, а подрядчиков те сами, кто им сдавал, могут показать по обнаруговании указов". Вследствие этого издан указ: "Рекрутскую доимку с 719 по 726 год велеть выбирать деньгами по 20 рублей за человека".

Известно, что со времен Петра Великого на Украине существовал гусарский полк, составленный из сербов; впоследствии тяжесть низового, или персидского, похода уменьшила в нем число людей, так что в 1733 году сербов оставалось только 197 человек; по докладу генерала Вейсбаха в этом году велено было ему сделать новый вызов сербов в русскую службу.

Мы видели, как шляхетство, помещики воспользовались законом о двадцатипятилетнем сроке и ринулись в отставку. Для простых солдат не было срока службы, и потому они изывали ее побегами. В 1732 году считалось в бегах 20000 солдат. Побегии кроме других причин могут объясняться и из следующего указа, данного в 1736 году заведовавшему Генеральным кригс-комиссариатом тайному советнику Новосильцеву: "Хотя так много кратными жесточайшими указами под штрафом лишения живота тебе подтверждено с Генеральным кригс-комиссариатом наиприлежнейшее о том попечение иметь, дабы армия наша мундиром и всеми потребными амуничными вещами с крайнейшим поспешением снабдена и все в том доньне великие недостатки поправлены были, однако, к величайшему нашему неудовольствию, ныне вновь из полученных от фельдмаршала Лесия доношений усмотреть принуждены, что его команды полки еще доньне во всех потребных вещах крайнюю нужду имеют и в весьма мизерном и сожаления достойном состоянии находятся: все то от оплошного Кригс-комиссариатом присмотра и старания про исходит. И ты, боясь бога, сам рассудить имеешь, коль безответно есть, что от вашей оплошности бедный солдат такие крайние нужды, особливо при беспрестанных его трудах, претерпевает"

С учреждения регулярной конницы драгунов военные тяжести увеличились еще сбором лошадей: драгунские лошади собирались и теперь с государства со всех чинов, с духовных и светских, с 370 душ - по одной лошади, считая лошадь с постав кою и кормом не более 20 рублей. И тут правительство должно было грозить смертью за взятки. Вместо поставки натурою позволено было платить по 20 рублей за лошадь.

Мы видели, что решено было поддерживать флот, и потому в 1732 году в соответствии с комиссией о приведении в добрый порядок сухопутного войска учреждена была комиссия для при ведения в добрый порядок и флота под дирекциею графа Остермана: "Понеже в содержании флота и морской нашей силы не меньше нужды, пользы и безопасности государства нашего со стоит". Адмиралы и вице-адмиралы обязаны были представить в Кабинет письменные мнения о лучшем содержании флота Комиссия просила прежде всего императрицу определить: быть ли флоту в таком числе судов, какое положено Петром Великим? На это последовала резолюция: иметь старание, чтоб сперва привести флот в положенное число - 27 кораблей линейных, фрегатов - 6, паромов - 2, бомбардирных - 3, пакетботов - 8. В том же году была издана инструкция о разведении и по севе корабельных лесов, также о их сбережении и рубке. По Волге велено было удалить чуваш и черемис из соседства под чищеных и посеянных дубовых рощей.

Две войны, следовавшие одна за другою в продолжение семи лет, должны были потребовать от бедного государства сильны; пожертвований, и легко понять, что строгость, с какою правительство взыскивало доимки в начале царствования Анны, когда не было войны, не могла смягчиться в военное время. В таможенных, кабацких и канцелярских сборах с 1720 по 1732 год было в доимке: в Московской губернии-1944039 рублей, Новгородской - 1306270, в Белгородской - 420438, в Киевской - 36959, в Нижегородской - 54213, в Казанской 495613, в Астраханской - 483044, в Архангельской - 921214, в Воронежской - 326806, в Сибирской - 120879, в Смоленской - 140996, в Петербургской акцизной камере - 7056036. 29 мая 1733 года Камер-коллегии прокурор Мельгунов репортовал, что в 1732 году надлежало в губерниях и провинциях таможенных, кабацких и прочих доходов в сборе быть 2439573 рубля, а по присланным репортам тех доходов явилось в сборе только 186982 рубля, а остальные сполна ли в сборе и что в доимке осталось - неизвестно, потому что из многих губерний и провинций репортов не прислано. Губернаторам и воеводам, от которых репортов не прислано, послано в прошлом, 732 году и в нынешнем году по 12 указов, и, сверх того, подано на них в Сенат три доношения, и по определениям сенатским послано три указа, велено тех губернаторов и воевод за неприсылку репортов держать под караулом, а секретарей и подьячих - в оковах, но и после этого репортов все же не прислано. В том же, 1733 году императрица объявила о своем немалом неудовольствии на то, что труд Петра Великого относительно введения порядка в сборе доходов и отчетности является напрасным, указы его не

исполняются; по плану Петра она восстановила Ревизион-коллегию и снабдила ее регламентом, по которому коллегия должна была иметь вышнюю дирекцию в свидетельстве и в ревизии счетов о всех государственных доходах и расходах, какого бы они звания ни были, начиная с 1732 года. Тогда же учреждена была Генеральная счетная комиссия, которая должна была проверить все счета с 1719 по 1732 год. Вслед за тем указ об учреждении в Москве особенного Доимочного приказа, потому что с 1720 по 1732 год более семи миллионов в доимку запущено от несмотрения и нерадения генерал губернаторов, губернаторов, вице-губернаторов, воевод, приказных людей и самой Камер-коллегии. В 1734 году Доимочному приказу велено было, доправивши сполна всю доимку на должниках, расписать штраф на губернаторов, воевод и приказных людей, по небрежению которых доимка была запущена, расположа на всех не меньше как по десяти процентов в год. Надеялись больших выгод от Генеральной счетной комиссии и жестоко обманулись: в ней было семь членов, экзекутор, пять секретарей, 88 подьячих, четверо сторожей, всего 105 человек, но результаты деятельности ее оказались ничтожны: до 1736 года она рассмотрела 78 счетов на сумму 2204712 рублей, и начетов явилось только 1152 рубля, тогда как на жалованье служащим и канцелярские расходы тратилась ежегодно большая сумма. Невыгодное учреждение упразднили, заменив небольшою конторою, которая должна была находиться в ведении Ревизион-коллегии. В 1734 году с дворцовых сел и волостей приходилось взять 154842 рубля, а взято только 84485 рублей; управители и крестьяне объявляли, что доходов взыскать нельзя за всеконечную скудость, за недородом хлеба и за побегом крестьян; из некоторых волостей присланы были образчики хлеба, каким принуждены питаться крестьяне. Неутомимый взыскатель доимок и преследователь сенаторских не порядков обер-прокурор Анисим Маслов умер в конце 1735 года, но перед смертью донес императрице о злоупотреблениях, которые позволял себе президент Коммерц-коллегии барон Шафиров и товарищи его сенаторы. "Всем не порядкам и воровству причина та, - писал Маслов, - что в ревизию ниоткуда не присылают счетов, а Сенат за это не взыскивает, потому что из сенаторов господин барон Шафиров, который теперь самый сильный в Сенате голос имеет. сам счетов коллегии своей уже три года не отправляет в ревизию. О прочих многих не порядках и упущениях, особливо барона Шафирова и тайного советника графа Головкина, например о конечном упущении монетных дворов, теперь по причине болезни своей пока ваше величество не утруждаю, но так как эти господа знают, что я молчать не буду, то составляют против меня советы и трудятся уже несколько дней, не только пересылаясь между собою по делам, но и в Сенате советуются, высылая вон обер-секретаря и секретарей". В 1736 году опять было замечено, что все сборы запускаются в доимку слабостию губернаторов, воевод и сборщиков, и пошли им указы, чтоб на 1736 год все сборы были доставлены без доимки, в противном случае недвижимые имения их будут конфискованы бесповоротно; если же Военная и Камер-коллегия будут

слабо смотреть за губернаторами и воеводами, то все доимки и недоборы будут взысканы на этих коллегиях. В 1739 году новые жалобы правительства на доимки, которые приписываются прямо злоупотреблению правительственных лиц; указ написан, как видно, с целию оправдать верховное правительство ввиду страшных жалоб на разорение от беспощадного взыскивания доимок: "Всеми известно, какая высочайшая милость к нашим верным подданным показывана, а именно в прошлом, 1730 году подушные деньги на майскую треть, а потом в 1735 году на первую половину года со всего государства сложены, всего близ 4000000 рублей. Однакож, видя такую высочайшую милость, о платеже такой доимки нимало не старались и намножили на себя великие суммы, в чем не иной кто причиною, но вначале знатные персоны, а на них, смотря или и норовя им, губернаторы, и воеводы, и определенные к таким сборам управители. Что же касается о таковой же доимке на наших дворцовых и приписных к казенным разным заводам, також и цесаревны Елисаветы Петровны, и синодальных, архиерейских и монастырских, и имеретинской царевны вотчинах, то ежели б бывшие в них управители, приказчики и старосты порядочно поступали и взятков с крестьян не брали, то б такой великой доимки на оных вотчинах быть не могло: ибо заподлинно мы уведомились, что оные управители не о доходах государственных старались, но всегда о своем обогащении вымышляли, как бы им несправедливую корысть получить, и для того изъезжая взятков крестьянам потакали и от времени до времени отсрочивали, а крестьяне, не разумея их такой хитрости и не рассуждая того, что такие отсрочки к крайнему разорению привести их могут, давали им немалые посулы. Иные же управители крестьянам представляли, что такие доимки могут с них со временем вовсе сложены быть, и на то, собирая с них великие суммы, себе похищали, а их от времени до времени обнадеживали; и тако бедное крестьянство от таких вымышленных им послаблений и обманов вовсе разоряются, и доимки на них год от года умножаются, и ежели исчислить такие с них за отсрочку в доимках взятки, когда б они прямо в казну нашу доходили, а не у таких плутов в руках оставались, то бы всеконечно на крестьянах не такая б великая доимка оставалась. А понеже таких великих доимок складывать отнюдь не возможно, для того что ежели оную доимку сложить, то тем только польза быть может, которые упрямым своим и ослушанием таких податей не платили, а, напротив того, другие, которые с крайним своим изнеможением упомянутые подушные деньги сполна платили, останутся обижены, ибо того, что они заплатили, из казны им возратить будет невозможно, да и, сверх того, войска наши в жаловании и в прочем могут претерпеть крайнюю нужду. Того ради во всенародное известие объявляем, что мы всемилостивейшее намерение имеем нашим верным подданным впредь особливую нашу милость показать, кроме складывания доимок, дабы нашею милостию все равно пользоваться могли, а на складывание доимок надежды нималой не имели". В самом начале 1740 года подтверждено было взыскание доимок на основании прежних распоряжений. Относительно уплаты доимок слышались сильные жалобы

на монастыри. В 1736 году председатель Коллегии экономии донес, что на архиерейских домах и монастырях большая доимка. По указу императрицы велено было заплатить ее в два месяца, но указ не был исполнен. Коллегия экономии представила об этом Синоду; Синод приказал заплатить немедленно, а пока не будет уплачено, в монастырях властям на свои властелинские места в церквах не становиться. Но и после этого доимки не только не были заплачены, но и еще умножились. Коллегия экономии послала офицеров для взыскивания доимок, но до конца 1739 года доимка все еще не была заплачена. На Саввино-Сторожевском монастыре оставалось доимки 20415 рублей. Председатель Коллегии экономии оканчивал свое донесение об этом так: "Приказные и стряпчие тех монастырей хотя и содержатся скованы под караулом, точию они власти то задержание ни во что вменяют"

Что касается расходов, то в 1734 году на содержание двора выходило 260000 рублей, на содержание императорской конюшни - 100000, в комнату принцессы Анны Леопольдовны - 6000, пенсии вдовствующей маркграфине бранденбургской Марии-Доротее, сестре покойного герцога курляндского, мужа императрицы, - 10000, пенсии вдовствующей герцогине саксен-мейнингской Елизавете-Софии, свекрови императрицы, - 10000, пенсии другой сестре покойного герцога курляндского, герцогине Елеоноре брауншвейг-бевеернской, - 12000, пенсии вдовствующей княгине Амалии-Луизе - 10000, царю грузинскому Вахтангу Леоновичу и брату его царевичу Симеону - 29111, в Коллегию иностранных дел на министерские, курьерские и калмыцкие дачи - 102200, в две академии - Наук и Адмиралтейскую - 47371, в Медицинскую канцелярию-16006, в Адмиралтейство - 1200000, в артиллерию - 370000, лейб-гвардии на 4 полка - 402112, лейб-гвардии на Московский отставной баталион - 13176, на Мекленбургский корпус - 13249, на полки Низового корпуса, которые на подушный сбор не положены, - 422520, на содержание полевых драгунских шести полков - 175557, нерегулярному войску - 141525, кабинет-министрам, сенаторам, коллежским президентам, членам и прокурорам - 96082, приказным и нижним служителям - 153688, на расходы по учреждениям - 17072, канцелярским, таможенным да портовым служителям и обер-директору - 14332, в московской полиции и в 5 комиссиях членам, офицерам и приказным служителям - 9748, служащим в провинциях - 36525, геодезистам и школьным учителям - 4500, в губерниях и провинциях на канцелярские расходы и на прогоны - 14465, арестантам и ссыльным кормовых - 1746, в Ревельской губернии и в Выборгской провинции и в Нарве с привозной заморской соли, которые отсылаются в Соляную контору (?), - 14792, ружникам, придворным, протодьякону, уставщику и певчим, жалованье нищим и на отопление богаделен - 41876, на пенсионные дачи - 38096, на строения - 256813; сумма - 4040570. Сюда должно прибавить 3767015 рублей подушного сбора, шедшего на армию.

Прибегали к разным средствам уменьшения расходов и увеличения доходов; в 1732 году Сенат подал императрице доношение: в 1730 и 1731

годах фельдмаршал Миних доносил, что работы по Ладожскому каналу счастливо окончены, и требовал наложения на проходящие этим каналом суда и плоты пошлин, объявляя, что пошлин с судов и кабаков будет достаточно для произведения всех остальных работ, равно как для содержания канала и выкладки берегов его диким камнем. Но потом в прошлом же, 1731 году потребовал на достройку шлюзов 50000 рублей, объявляя опять, что этими деньгами и пошлинами исправятся все доделки по каналу, почему и отпущены ему требуемые 50000 рублей. Но в нынешнем, 1732 году фельдмаршал представил новое требование - 110000 рублей на ту же достройку канала; отпущено 50000, а остальных 60000 не отпущено по неимению денег. "Понеже, - писал Сенат, - тем каналом уже другой год всякие суда со всякими припасами проходят свободно, и такой нужды, чтоб какие вдруг многие работы великим коштом исправлять, быть не рассуждается, того ради не соизволите ли, ваше императорское величество, повелеть то канальное дело за неимением ныне денежной казны оканчивать но прежним его, генерал-фельдмаршала, представлением на одни только сборные при канале пошлинные и прибыльные деньги и, сверх того, придать еще ладожские таможенные и кабатские доходы, которых имеет быть на год больше 40000 рублей". При этом Сенат приложил ведомость, из которой оказывалось, что канал с 1718 года стоил казне 2459900 рублей. На доношение Сената императрица отвечала приказанием отпустить 60000 рублей и впредь отпуска из доимочных денег, сколько когда будет востребовано фельдмаршалом.

В самом начале 1735 года императрица отдала кабинет-министрам поданный ей проект и для его обсуждения приказала в Кабинете быть собранию из особ, назначенных ею самою. В проекте говорилось: 1) в государстве много иноверных народов, называемых ясачными; прежде они платили деньгами и звериными кожами, но когда установлена подушная подать, то на эти народы неосмотрительно наложена подать, именно 110 копеек, а так как эти народы поселены на самых лучших местах, в хлебе и скоте имеют большое довольство, притом звериные, рыбные ловли и пчеловодство, многие из них и торгуют, то эта подать для них безмерно легка, тогда как в других государствах везде иноверцы более податей платят, нежели природные единоверцы; поэтому надобно положить на них еще прибавочную подать умеренную, со всякой души по 150 копеек на год, и так как их около полумиллиона, то прибавочной суммы будет тысяч двести и больше; 2) из бесхлебных мест выбежали многие крестьяне, так что в некоторых местах только половина против генеральной переписи осталась, а кой-где и меньше, снять хлеб стало некому, подати за беглецов принуждены платить оставшиеся; когда же до того дойдет, что они, распродав в подати скот свой и последний хлеб, придут в нищету, тогда принуждены и они, оставя дома, или скитаться по миру, или сбежать в дальние места, отчего во многих местах быть голоду и пустоте. Большая часть беглецов умещается внутри государства там, где хлебные и свободные места, а особливо в ясачных русских волостях, также в слободах, называемых старых служб, т. е. в солдатских, козачьих,

пушкарских, затинщических, рейтарских, стрелецких и бывших засечных лесных сторожей, ибо многие из этих служилых людей поселены в низовых и заоцких городах в лучших местах. Помянутые старых служб, также и ясачные крестьяне других податей не платят и работ не работают, кроме что платят на полки, и затем живут, как ясачные крестьяне, сами по себе, по своей воле, и это их своеволие приносит государству немалый вред и делает из их земель пристанище беглецам по причине доброты земель, на которые навозу не кладут, и потому земледельцам только половина труда, а там, откуда бегут, приходится по полтора и го два рубли на каждую душу, и надобно уравнением податей пресечь бегство. Надобно ясачным волостям ревизию сделать, приемщиков наказывать и, сверх того, за то, что принимали, прибавить к подушному окладу в год по 10 копеек для страха впредь; 3) завести магазины и наполнять их при дешевых ценах, а в голод продавать по умеренным ценам; 4) по нынешним хлебным недородам весьма нужно уменьшить в государстве винокуренные заводы, особенно во внутренних и малохлебных местах - в Новгородской Московской, Нижегородской, Смоленской губерниях; видим, что уже во многих местах доходит до самого голода, однако, вместо того чтоб тот хлеб мог идти на пропитание оскуделому и голодному народу, употребляем его в отраву человеческую - в вино для прибытка нескольких частных лиц; на кабаки же вино подряжать из Малороссии и из Польши; 5) учредить особую контору и подчинить ее Сенату; она должна знать, где есть хлебные и бесхлебные места, по какой цене в котором месяце бывает в губерниях во всех городах какой хлеб в продаже, знать положение и расстояние мест и течение рек; контора эта также должна заботиться о пресечении побегов.

Князь Александр Борисович Куракин подал мнение, что надобно сравнить прежние ясачные подати с нынешним окладом, и если можно будет наложить, то лучше хлебом, который пойдет на войско, но главное, чтоб при сборе подушного оклада и этого хлеба не обижали иноверцев и не брали с них взятки; слышно, что эти народы от воевод, всяких посыльщиков и приказных людей терпят разорение. Куракин указал, что беглые живут также на фабриках и заводах, особенно в Сибири: там у медных и железных заводов населены немалые слободы беглыми крестьянами, надобно эти слободы освидетельствовать и с владельцев взыскать за беглых в пользу помещиков. Утверждая необходимость общей ревизии, Куракин замечал, что особой конторы, указанной в проекте, не нужно, все это дело надобно поручить одному из сенаторов.

По мнению графа Михаила Гавриловича Головкина, Синод должен был стараться приводить иноверцев в христианскую веру и тем их обуздать; на остающихся в прежней вере ясак прибавить, а принявших христианство уравнивать с русскими. В Сенате известно, что в Польше, поблизости от границ, многие шляхтичи в своих землях публикуют с барабанным боем, чтоб русские шли к ним в подданство, и обещают им многие облегчения, также и в русские города посылают шпионов и подговаривают многих к

себе, особенно из Смоленской губернии, которая за хлебным недородом многих лет пришла в великую скудность и разорение; видя их ласковый привет, множество идут за границу и селятся, получая льготы на большое число лет. Поэтому надобно послать туда значительное войско и велеть не только беглецов возвратить, но и польских подданных, забрав, перевести на царицынскую линию, а по границе лежащие места перед другими уездами надобно облегчить в подушном окладе, дабы жители их не имели охоты бежать за границу. Из челобитных смоленской шляхты можно видеть, в каком худом состоянии эта губерния ныне находится, особенно когда на прошлый, 1734 год правили вдруг за обе половины года и оттого почти всех в Польшу разогнали.

Где земля хотя и плодоносная, а крестьянство в добром охранении не будет, там и хорошая земля не удержит, бегут туда, где бы хотя несколько времени могли пожить в покое. Соглашаясь на учреждение хлебных магазинов, Головкин замечал относительно винокуренных заводов: если губернаторы увидят, что урожай хорош, то могут дать позволение хлеб на вино тратить, ибо когда цены на хлеб будут очень низки, то крестьянство не может исправиться в платеже подушного оклада, и потому надобно устанавливать цены хлебу умеренные; также не должно запрещать винокурения в тех местах, из которых неудобно провозить хлеб за неимением судоходных рек. Если губернатор усмотрит, что хлеб родился худо, то надобно ему ограничить винокурение наполовину, а в случае великой нужды и вовсе прекратить.

Волынский в своем мнении указал, что по реке Самаре живут многие тысячи беглых. Уменьшение винокуренных заводов признал делом самым нужным: если взять две равные меры хлеба и из одной пересидеть вино и передвоить, а другую половину перепечь в хлебы, то на всякую чарку придется по целому хлебу такому, что человек доволен им будет четыре дня; сколько ж пьяница-тунеяец таких хлебов в один день чарками проглотит и у скольких человек на тот день пищи отнимет! Содержатели винокуренных заводов отнимают пропитание у подлого народа излишними наддачами в хлебным ценам, а если б не они, то, конечно, не было бы в государстве такой скудости. "Того ради, по моему слабому мнению, по истинной совести доношу, что всеконечно в малохлебных местах винокуренные заводы разорить надобно, невзирая на то, что народным вредителям, одним только заводчикам и откупщикам и протекторам их, будет из того некоторый убыток, однако ж вместо того во многих местах целому бедному народу в пропитании будет великая польза, как о том всяк совестный и добрый христианин легко рассудить может. Если скажут, что люди на винокуренных заводах добывают себе хлеб, то на это возражение: эти люди были бы земледельцы, а теперь летают из места в место в легких работах и сами едят хлеб из чужих рук, как мыши, а в государстве нашем лучшим из всех сокровищ хлеб почитать нужно, и когда земледелец отвыкает от пашни, то уже никогда снова земледельцем не сделается".

По мнению Черкасского и Остермана, по 40 копеек на ясачных прибавить можно было бы, потому что и теперь не меньше того с них сходит, если не больше: ежегодно выбираются у них старосты и выборные, которые сверх подушного оклада собирают немалую сумму денег под названием мирского сбора, из которого расходуют на подводы, дрова, бумагу, свечи, из той же суммы сами старосты довольствуются и даже обогащаются, приказчикам и воеводам немалые дачи производят, а приказчики и воеводы об уменьшении сборов не стараются, ибо, чем больше старосты собирают, тем больше им дают. Поэтому надобно определить, кому такие мирские сборы и расходы свидетельствовать и назначать, по сколько в котором селе собирать, на какие необходимые расходы и по сколько их употреблять; чрез это излишние мирские сборы, которые прежде шли в частное пользование, обращены будут в государственное пользование. Чтоб не принимали беглых, вместо пожилых денег позволить помещикам брать земли, где поселены их беглые: этот способ больше всяких штрафов устроит, ибо крестьяне из своих дач не хотят потерять ни малейшей части земли, хотя бы оставалось у них еще слишком много; они готовы умереть за малейшую часть земли, когда дело идет о том, чтоб чужое себе присвоить или из своего не уступить, что по спорным о земле делам видно. Против винокуренных заводов оба кабинет-министра привели еще то, что около Москвы и других значительных городов на них тратится множество лесов, где уж и так лесов становится мало и цены на дрова возвысились, а по положению нашего государства, по великой стуже дрова нужны не менее хлеба. Винокуренные заводы надобно уничтожить в Московской, Нижегородской, Новгородской и Смоленской губерниях и оставить их в Малороссии и в тех великороссийских областях, откуда отпуска хлеба водою не бывает. Помещикам можно позволить в деревнях курить вино, но только для своих нужд.

Главный вопрос о ясачных решил обер-прокурор Анисим Маслов, представив ведомости, что иноверцы платят теперь гораздо больше, чем платили прежде, и такого числа их нет, как написано в представлении, именно: по справке явилось меньше половины, и чрез прибавку податей можно получить только 80000 рублей, по из-за таких небольших денег не стоит подвергаться опасности, что ясачные разбегутся к чужим народам.

В 1736 году прибегли к старому средству - выплачивать гражданским чиновникам жалованье сибирскими и китайскими товарами, кроме служащих при Кабинете, в Академии Наук и иностранцев, служащих по капитуляциям; в 1739 году восстановлен был закон Петра Великого, чтоб чиновники, служащие в Москве и других городах, получали жалованье вполовину меньше против служащих в Петербурге; тогда же запрещено было из Штатс-конторы из наличных денег производить жалованье статским чинам, начиная с сенаторов, прежде чем будут удовлетворены денежною казною Военная и Адмиралтейская коллегии и артиллерия; статские чины должны были получать жалованье из доимочных денег, опять исключая членов Академии Наук и иностранцев, служащих по

капитуляциям. В июле 1740 года Сенат представил, чтоб дано было из Соляной конторы заимообразно денег по крайней мере до 200000 рублей, показывая, что с начала 1740 года по 19 июля на чрезвычайные расходы издержано 456319 рублей и потому в рентереях денег нет и платить не из чего. На это представление последовал выговор в именном указе: императрице весьма удивительно, отчего ныне в деньгах недостаток явился! Все нужнейшие и государству нашему полезные дела упущены, и до того дошло, что о пополнении государственных доходов нималой надежды нет, в сборах многие непорядки явились, и оттого сборы умяляются; доимки в нескольких миллионах состоят, казенные деньги частными людьми похищены и другими коварными вымыслами захвачены. Сенат, оставя такие дела, по которым государственная казна растеряна и раскрадена, без надлежащего следствия и взыскания и не рассуждая того, откуда деньги без утруждения нас и без отягощения наших верных подданных сыскать можно и нет ли таких расходов, которые могли бы быть и оставлены, и, не рассматривая, с каким порядком собираются доходы, нам самим представлять стали о даче в займы из соляной суммы! Об этом мы Сенату внушить принуждены, что соляной сбор употребляется на экстраординарные расходы по особливим нашим соизволениям, поэтому его никуда и употреблять не надлежит. Что же и до дел челобитчиковых принадлежит, то многие с многолетнею волокитою и до сего времени решения получить не могут, а для того некоторые челобитчики принуждены нас везде беспокоить и своими прошениями утруждать; также и колодников так умножилось, что и караулами обнять не могут.

Люди, как Остерман и ему подобные, понимали, что одним взысканием доимок нельзя увеличить государственные доходы, что надобно усиливать промышленную деятельность народа. По господствовавшему в то время взгляду ослабление промышленной деятельности приписывали недостатку правительственного надзора, и в 1734 году на основании мнения Коммерц-коллегии Сенат приказал определить обер-комиссара и троих комиссаров, достойных и искусных людей, для смотрения над фабриками и приведения их в лучший распорядок; деньги на жалованье этим новым чиновникам собирались с фабрикантов. Прежде всего обращено было внимание на распространение суконных фабрик, "дабы армию без вывоза чужестранных российскими сукнами удовольствовать". Для этого велено было Военной коллегии и Комиссариату принимать русские сукна прежде иностранных и русским фабрикантам деньги платить наравне с иностранными без всякого задержания, хотя некоторое время, для размножения тех фабрик. Мы видели уже, что по скудости народонаселения на огромных пространствах в России нельзя было пробавиться вольнонаемным трудом, и, как в XVI и XVII веках правительство, раздавши земли служилым людям, должно было обеспечить их относительно работников, так и в XVIII веке правительство, заводя и поощряя заводить фабрики, должно было также обеспечить их относительно работников; поэтому и в описываемое время встречаем указы об укреплении за фабрикантами оказавшихся у них на фабриках разного

ведомства людей и крестьян, о позволении фабрикантам покупать людей и крестьян без земель. Так как кроме этого фабрикантам давались большие льготы - освобождение их с детьми, братьями и приказчиками от всяких служб и постоев, то в привилегиях, даваемых для заведения новых фабрик, говорилось: "Повелеваем ту фабрику размножить сильною рукою, а не под видом содержать, чтоб оною от служб и от постоев быть свободным". В 1736 году составила компания из московских купцов для заведения суконной фабрики; компаньонами были Еремеев, Васильков, Товаров, Носырев, Колобов, Журавлев, Бабкин. Из старых суконных фабрик знамениты были Щеголина, Полуярославцева в Москве и вдовы Микляевой в Казани, с этих фабрик брали мастеров для обучения учеников во вновь заводимых фабриках. Полуярославцев ставил в год на армию по 70000 аршин сукна, компанейщики московской фабрики Болотин и Докучаев ставили по 180000 аршин, московский фабрикант Сериков мог сделать в год до 25000 аршин. По господствовавшему в меркантильной системе правилу не позволять вывоза сырых произведений за границу, в 1736 году восстановлен был указ Петра Великого, запрещающий вывозить козлиные сырые кожи; в следующем году указ был повторен.

Кроме суконных фабрик особенное внимание правительства было обращено на устройство конских заводов и горное дело. Независимо от страсти к лошадям всемогущего фаворита продолжительная война должна была указать на печальное состояние русской конницы; мы видели, как иностранным наблюдателям смешны казались русские драгуны, подавлявшие своих жалких лошадеков. В указе 1732 года говорилось: "Известно всем, коим образом до сего времени при нашей кавалерии употребляемые лошади по породе своей к стрельбе и порядочному строю весьма неспособны и такожде за малостию в нужных случаях такую службу показать не могут, какой от порядочной и доброконной кавалерии ожидать надлежит, а таких рослых и добрых лошадей из чужих краев доставать великое иждивение и труд требуется и не всегда возможно. Того ради указали мы в пристойных местах учредить конные заводы". Для этого составлена была особая комиссия, порученная обер-шталмейстеру графу Левенвольду, но так как последний отвлекаем был дипломатическими поручениями, то устройство конских заводов было поручено известному Волынскому. Он был отправлен в Москву, чтоб там составить комиссию и разослать в разные губернии офицеров для осмотра и описи удобных мест. Посланные нашли 104 удобные местности, в которых, по их мнению, можно было содержать до 36000 лошадей. В Кабинете положено было на первое время выбрать удобные места в дворцовых и ясачных дачах на 2000 заводных кобыл и на 240 жеребцов, вследствие чего в Казанской и Нижегородской губерниях выбрано было десять мест. Но мы видели, что по случаю польской войны и Волынский должен был отправиться к действующей армии. После, в 1739 году, встречаем распоряжения об устройстве конских заводов в малороссийских и слободских полках; тогда же велено было учредить государственные лошадиные заводы в синодальной области и в архиерейских и в монастырских вотчинах.

Относительно горного дела в 1733 году учреждена была особая комиссия под председательством графа Михайлы Головкина; она должна была решить старый вопрос: что выгоднее - на казенном ли коште содержать железные и медные заводы или отдать частным людям и на каких условиях? Сильным побуждением к поднятию этого вопроса были жалобы старика Геннина на затруднительность его положения. Геннин в 1732 году жаловался на уральского воеводу Овцына, который приписным к заводам крестьянам не велел ходить на заводские работы и употребляет их в подряды у соляных промышленников к строению судов на том основании, что эти крестьяне - лодочные плотники, но если такой воеводский порядок допустить, писал Геннин, то и вся Пермь, отбывая от работ, станет говорить, что все - лодочные плотники и их свойственники, к заводам от воеводы раденья нет: всех заводских крестьян желает взять под свой приказ и власть. Казенным заводам еще противность от тех, которым следовало больше других иметь об них попечение, а именно от горной экспедиции Коммерц-коллегии; ныне до того дошло, что некому юстицких и счетных и всех конторских дел управлять и в добром порядке содержать, а он, Геннин, в том неискусен, да хотя бы и умел, да некогда за частыми отлучка на другие заводы для их исправлений и для строения новых заводов, а от Сената и от Коммерц-коллегии спрашивают дел много под штрафом, и хотя у всех горных и заводских дел подъячих имеется со 130 человек, и без того быть нельзя, только смотреть за канцелярскими делами, распределять их и в добром порядке вести. счеты свидетельствовать и юстицкие дела отправлять некому, а тюрьма наполнена колодниками, также много там ссыльных, и опасно, чтоб, сообщаясь с тюремными сидельцами, не сделали какого зла, потому что место, с башкирами пограничное. Никто туда ехать не хочет, думая ему, Геннину, тем досадить и чтоб он один пропал и не мог обещанную сумму железа и меди поставить. Частными людьми медные и железные заводы строятся не в дальнем расстоянии от казенных заводов, а другие на казенной заводской земле; заводы строились и строятся без ведома его по точным из бывшей Берг-коллегии указам и не справясь прежде с Сибирским обер-бергамтом, и более в небытность его, Геннина, а из Сената требуют от него мнения, чтоб прислать в Коммерц-коллегию, а потом чтоб эта коллегия дала свое мнение, не будет ли от частных заводов казенным вреда. Но такого важного дела ему одному делать невозможно, да и Коммерц-коллегия, не выдав дела на месте, чрез репорт дать мнения не может: надобно прислать особую комиссию. Представляя все это, Геннин писал Остерману: "По возможности труждаюсь при казенных заводах. чтоб к государственной славе и интересу привести, и того ради на все стороны ссориться понужден, чтоб губернатор и провинциальные воеводы вымышленно помешательства не чинили, также чтоб господа сенаторы, а наипаче Коммерц-коллегия помогали. сверх того, утруждаю Кабинет, понеже ее и. в-ство изволила мне указать, дабы я писал прямо к ней, ежели какая остановка заводам будет или чего когда понадобится. Ныне опасен более Кабинет и Сенат утруждать моими частыми доуками, не знаю что делать: доукою скучать

ли или не требовать и молчать, и буде так делать, то заводы могут остановиться, а на мне того спрашивают, и того ради прошу вашего графского сиятельства Е том меня в своей милости содержать и к пользе государственных горных и заводских дел вспоможение учинить для славы государственной, а я бы рад, чтоб сильное лицо здесь было, нежели я, и который бы более патронов и голос имел; что мне, чужестранцу, делать, когда меня оставляют и на меня гневаются? Я живу воистину в великой печали".

В июле 1733 года Геннин писал Остерману решительно: "Припадая к ногам вашим, прошу, чтоб я отсюда был уволен, а быть бы мне при артиллерии, понеже мне такие великие дела одному более управить несносно, и вижу, что я в делах оставлен и никакой помощи нет, но более помешательства, дабы мне здесь от того напрасно, будто за неисправление, в чем я не виноват, не пропасть за мои верные в России чрез тридцать три года службы. А я признаваю, что мой злодей и поноситель на меня ассессор Горчаков более виноват и доносит везде, будто я имею здесь людей, с кем управлять довольно, а он сам чрез коварства свои отсюда отбыл, а Коммерц-коллегия ему верит и. может быть, и другие. А которых управителей ныне здесь я имею, оные почти все плуты и пьяницы, и более оные за плутовства содержатся под караулом, также и о тех их плутовствах следуются дела, нежели настоящие заводские дела делаются, а как их переменить - я людей не имею". В следующем году на смену Геннина отправлен был в Сибирскую и Казанскую губернии для заведования горными заводами известный Василий Никитич Татищев.

Устроивши все как следует в Екатеринбурге и Перми, Татищев должен был ехать в Томский и Кузнецкий уезды и стараться построить там сильные заводы; если самому нельзя, то отправить за тем же товарищей в Нерчинск, Иркутск и другие дальние места. Татищев должен был в Башкирии отыскать то место, где еще во времена царя Алексея Михайловича найдена была серебряная руда; должен был стараться некоторые работы исправлять вольным наймом, потому что Демидов, у которого нет и четвертой части приписных крестьян против казенных заводов, несмотря на то, отпускает железа вдвое более против казенных заводов. Татищеву поручен был надзор над всеми частными горными заводами баронов Строгановых, дворян Демидовых и других; он должен был смотреть, чтоб заводчики негодного железа и нечистой меди не продавали, расплачивались с мастерами добросовестно, лишнюю передачею мастеров друг от друга не переманивали, не держали беглых крестьян и друг друга не притесняли, смотреть накрепко, чтоб они на своих заводах не выделявали никаких военных орудий. Во всех законных требованиях Татищев должен был помогать им советом и делом, защищать от обид и в случае распрей между ними давать правый и скорый суд.

Татищев донес, что в Сибири в разных местах найдено руд множество, так что можно хотя тридцать заводов построить, и предлагал вызвать

охотников для построения заводов; правительство согласилось. В сентябре 1735 года Татищев писал из Екатеринбурга императрице: "Сего сентября 5 числа ездил я отсюда на реку Кушву и, приехав на оную 8 числа, осматривал: оная гора есть так высока, что кругом видеть с нее верст по 100 и более; руды в оной горе не токмо наружной, которая из гор вверх столбами торчит, но кругом в длину более 200 сажень, поперек на полдень сажень на 60; раскапывали и обрели, что всюду лежит сливная одним камнем в глубину; надеюсь, что и во многие годы дна не дойдем. Для такого обстоятельства назвали мы оную гору Благодать, ибо такое великое сокровище на счастье вашего величества по благодати божией открылось, тем же и вашего величества имя в ней в бессмертность славиться имеет".

Сильное развитие горного дела в приуральских странах и далее на восток, многосложность отношений, увеличение числа промышленников, частые столкновения между ними требовали точных определений и правил, и Татищев немедленно же занялся составлением горнозаводского устава, взявши для него за основание богемский горнозаводской устав, но перед началом дела он счел за нужное созвать в Екатеринбурге всех частных промышленников и приказчиков, к которым обратился с просьбою подавать свои мнения и защищать их свободно: "Всяк имеет волю свое мнение объявить, колико ему бог в том знания уделил, и при том остаться, доколе или тот, или другой, познав лучшую истину, первое переменит; я же вам всем по моей должности и по крайнему разумению служить и моим советом помогать желаю". Верный мысли Петра Великого, Татищев в своем уставе обратил особенное внимание на поддержание коллегиального порядка в Канцелярии главного правления сибирскими горными заводами, как он назвал учреждение, носившее до сих пор название Обер-бергамта; при этом Татищев указывает на неурядки, существовавшие в его время в коллегиях: "В некоторых тому подобных *собранных правлениях* не весьма уставу следуют, яко главные, прежде выслушать нижних голосов, свое мнение объявляют, для которого иногда нижние за почтение, из маности или за страх, истинное свое мнение и сущую надлежность не объявля, оставляют и оному неправильному согласуют и последуют, а потом, когда к суду позваны бывают, тем отговариваются, что не они большие; другие же коварно при даянии голосов весьма молчат, и когда протокол к закреплению придет, тогда, показывая себя, начинают спорить и новые доводы показывать, чрез что в делах токмо делают продолжение; некоторые же по закрепе дерзают противу порядка из домов своих протесты присылать или протоколисту отдают, ища токмо других невинно опорочить". Татищев вооружился также против злоупотреблений относительно пыток и казней и здесь, следуя мысли преобразователя, высказанной в Уложении и процессе воинского суда. "Некоторые судьи, - говорится в горном уставе, - забыв страх божий и вечную души своей погибель и презрев законы, многократно по злобе или кому дружа, а наипаче проклятым лихоимством прельстяся или кто глупым и нерассудным свирепством преисполняя, людей неподлежаще на пытки осуждают и без всякой надлежащей причины неумеренно и по неколику

раз пытаются; некоторые же до смерти пытаются, и на смерть или к лишению чести без всякого к тому надлежащего доказательства осуждают". По уставу Татищева земский судья не мог никого пытать без извещения главного заводского правления и общего согласия. Смертный приговор мог быть постановлен только в присутствии всех членов Канцелярии главного правления; человек из шляхетства и заслуживший знатный ранг не мог быть пытан и лишен чести; полагалось поступать без всякого послабления в истязании и наказании только с сущими ворами, особенно с ссыльными.

В марте 1735 года Татищев писал обоим кабинет-министрам, Остерману и Черкасскому вместе, любопытное письмо: "О здешних делах ныне иного донести не имею, токмо что раскольников по всем заводам стали переписывать, и хотя я думал, что их душ 1000 либо наберется, однако слышу от них самих, что их более 3000 будет. От оных приходил ко мне первый здешний купец Осенев и приносил 1000 рублей, и хотя при том никакой просьбы не представлял, однако ж я мог выразуметь, чтоб я с ними так же поступил, как и прежние; я ему отрекся, что мне, не видя дела и не зная за что, принять сумнительно. Назавтра пришел паки да с ним Осокиных приказчик Набатов и принес другую тысячу, но я им сказал, что ни десяти не возьму, понеже то было против моей присяги, но как они прилежно просили и представляли, что ежели я от них не приму, то они будут все в страхе и будут искать других мест, и я, опасаясь, чтоб какого вреда не учинить, обещал им оные принять, когда о невысылке их указ получу, а до тех бы мест держали те деньги у себя, и с тем их отпустил. А по выходе Набатова Осенев мне говорил, что гененал-поручик Геннин, приехав последний раз с Москвы, объявил-де мне, что он весьма разорился и якобы ему более 10000 убытка стало, и посылал-де меня к Демидова приказчикам говорить, чтоб за показанные его благодеяния тот его убыток наградили, и потому приказчик Демидова Степан Егоров ему, генерал-поручику, то число денег привез и отдал, которым и меня склонял, чтоб я так же поступил, но я ему на то сказал, что я как Демидову, так и вам во всем том, что не противно моей должности, помогать и охранять готов без всякой за то мзды, а ежели в чем есть им нужда, то б благонадежно мне сказывали. По оному те раскольники так стали быть благонадежны, что они мне их тайности стали открывать, первое показали о двух пустынях, в которых много попов-старцев, стариц и других беглецов поселились в лесах близ Демидова заводов, и спрашивали, надобно ль их переписать, прося токмо, чтоб их податями не отяготить, и я им велел подать доношение, по которому пошлю их переписать, а о податях обещал донести ее в-ству, чтоб брать с возможных; токмо и для той переписи велел выбрать человека, кого они хотят. Другое: весьма они опасаются, чтоб в школах детей их не принуждали по новым книгам учиться, но я им обещал токмо обучать арифметике и геометрии, а до прочего якобы мне дела нет. Третье: просили, чтоб на заводах кабакам не быть, опасаясь, чтоб чрез то многие учения их не отстали, и говорили паки, что Демидовы и прочие промышленники тот откуп на себя снимут, и меня обещали довольно наградить но я им в том весьма отказал, показуя данную мне инструкцию

где написано точно: на казенных и партикулярных заводах кабаки учредить. И сие вам доношу не для самохвальства или по какой злости, но паче чтоб вы о всем были известны, и, ежели потребно усмотрите, можете благонадежно за истину ее величеству донести, и я все то доказать могу. При сем же покорно нижайше прошу вашего сиятельства милостивых моих государей, чтоб посланные мои доношения изволили рассмотреть, и, ежели я в чем хотя ни от какой страсти, но разве от неразумения пристойность преступил, милостивое ваше защищение покажите и меня уведомить повелите, дабы я впредь от неведомого погрешения мог остеречься".

Остерман отвечал ему на это: "Мы ее и. в-ству доносили, и ее в-ство изволили указать к вам писать, чтоб вы весьма тайно и секретно того Демидова приказчика Стефана Егорова прислали сюда, в Петербург, с такою крайнею осторожностью, чтоб ни хозяин его, ни другие про то ведать не могли, понеже ее величество здесь оное дело исследовать повелит секретно. И ежели б оный Осенев для доказательства потребен был, то имеете и одного прислать особливо". Егоров был отправлен в Петербург и здесь показал, что в 1729 году Геннин был на заводе у Демидова и говорил Егорову: "Я теперь разорился, пропало у меня за морем в банке 10000 рублей: отпиши к хозяину, чтоб мне уступил железа здесь при заводе 20000 пуд за 30 копеек пуд и доvez до Петербурга на своих судах, а за провоз я заплачу и за то ему всегда буду слуга". Егоров писал об этом хозяину, но тот отвечал, чтоб выдали Геннину 4000 рублей деньгами, что Егоров и исполнил; других же дач деньгами Геннину не было, давали посуду медную и другие мелочи. Как ни тайно вели дело, Геннин, однако, узнал, что Егоров прислан доносителем на него, и написал Остерману, что в продолжение тридцати семи лет службы он ни от кого не корыстовался, во всем чист, и требовал строгого допроса Егорову в Кабинете и очных ставок. Но в декабре по приказу господ министров Егоров из-под караула освобожден и отпущен на заводы.

Геннин был отомщен тем, что скоро явились жалобы и на Татищева.

Несмотря на желание нового начальника жить в мире с частными владельцами заводов и сочинять Горный устав сообща с ними, в Петербург пошли жалобы на него от главных заводчиков - Строгановых и Демидова. Строгановы жаловались, что Татищев нападает на их приказчиков, грозит бить их кнутом на том основании, что приказчики запрещают своим крестьянам приискивать руду, тогда как приказчики вовсе этого не запрещают, не велят только своим крестьянам ставить руду на чужие заводы; потом велит прокладывать дорогу, в которой нет никакой надобности, потому что летом ездят водою, а зимою - по льду. Демидов жаловался, что Татищев берет у него даром материал для казенных построек, берет на казенные заводы с его заводов мастеров и рабочих. Неизвестно, как правительство удостоверилось, что правы жалобщики, только в апреле 1736 года Татищеву были посланы указы: "Вследствие его нападок строгановских приказчиков и крестьян не ведать, по делам горным

ведать их в Комерц-коллегии, а по соляным - в Соляной конторе, также и Демидова ведать в Комерц-коллегии для вышепоказанных от вас обид и происходящих между вами приказных ссор". 24 августа 1736 года Татищев писал Остерману и Черкасскому: "Вашему сиятельству известно, что я сюда ехать никакой охоты не имел и никогда и ни к какому делу не искал, но когда ее и. в-ство по всевысокой ее воле повелела мне здесь быть, а ваше сиятельство по прежней ко мне и природной ко всем показуемой милости меня тем и всегдашним от нападчиков защищенном и в положенном на меня деле помощью милостивою обнадежили, и потому я не токмо с охотою ехал, о исполнении повеленного и приобретении великой ее и. в-ства прибыли никоего сумнения не имел. Но, как всякий человек несовершен, часто зло за добро, а вредное за полезное почитать, чем чае благополучия, оттого погибает, так сие со мною наипаче учинилось, что я от крайней глупости, хотя ни из коей собственной прихоти или злости, против воли и намерения ее и. в-ства безумно так великих и сильных людей господ баронов Строгановых и дворянина Акинфея Демидова к жалобам на меня и утруждению ее и. в-ства и вашего сиятельства подвинул и за то вижу, что достойно так тяжким гневом наказан, и, обещанной милости и помощи вашего сиятельства видя себя лишена, в страхе крайней гибели и отчаяния всякого благополучия пришед, ничего начать ниже представить смею. Большой паче всех страх и печаль наносят мне дела по тайным розыскам, которые здесь от плутов ссыльных объявляются и о розыске оными ныне точный ее и. в-ства указ, но потом из Канцелярии тайных розыскных дел с гневом прислан был указ, якобы я не в свое дело без указа вступил". Новый Горный устав не был утвержден. Татищев объясняет свои неудачи немилостью Бирона, которую он навлек на себя тем, что, "усмотря, что от бывших некоторых саксонцев в строении заводов все чины и работы, якоже и снасти, по-немецки названы, которых многие не знали и правильно выговорить или написать не умели, сожалея, чтобы слава и честь отечества и его труд теми именами немецкими утеснены не были, ибо по оным немцы могли себе неподлежащие в размножении заводов честь привлекать, еще же из того и вред усмотря, что незнающие тех слов впадали в невинное преступление, и дело во опущении, яко полномочный, все такие звания оставил, а велел писать русскими". Представление его в Кабинет об этой перемене было одобрено императрицею, но Бирон "так сие за зло принял, что не однажды говаривал, якобы Татищев - главный злодей немцев". Но если б и действительно Бирон рассердился за перемену немецких названий на русские, то не здесь, однако, нужно искать причины неутверждения нового устава; сам Татищев в другом месте объясняет дело удовлетворительно переменою главного управления горным делом вообще: "Берг-директориум учинен в 1736 году вместо Берг-коллегии; когда Бирон вознамерился оный великий государственный доход похитить, тогда он, призвав из Саксонии Шемберга, который хотя и малого знания к содержанию таких великих казенных, а паче железных заводов не имел и нигде не видел, учинил его генералом берг-директором с полною властью, частью подчиня Сенату, но

потом, видя, что Сенат требует о всем известия и счета, а Татищев, которому все сибирские заводы поручены были, письменно его худые поступки и назначение представил, тогда, оставя все учиненные о том комиссии представления, все заводы под именем Шемберга тому Бирону с некоторыми темными и весьма казне убыточными договоры отдал". По свидетельству Татищева, Бирон и Шемберг в два года похитили более 400000 рублей. Комиссия, о которой упоминает Татищев, была составлена в 1738 году, ей был предложен на разрешение тот же вопрос: "На казенном ли коште заводы прибыльнее содержать или в компании партикулярным отдать?" Комиссия отвечала, что выгоднее отдать в компанию. На этом основании в 1739 году издан был берг-регламент. Но еще прежде, в 1737 году, Татищев в чине тайного советника был переведен в Оренбургскую экспедицию для устройства Башкирского края.

Что касается самого многочисленного класса промышленников-земледельцев, то мы видели, что главное внимание было обращено на то, чтоб они исправно платили подати и доимки С этой целью в 1732 и 1733 году запрещено было помещикам переселять крестьян из одного места на другое, не подавши просьбы о том в Камер-коллегию, "дабы от такого безуказного пере вода в платеже подушных денег и рекрут и прочих указных сборов немало помешательств и доимок, и ее императорского величества армии в даче жалованья не было нужды". Но в том же, 1733 году во многих местах не родился хлеб и крестьяне пошли по миру; в апреле 1734 года императрица, "имея попечение не токмо о том, дабы крестьяне в таком случае пропитаны были, по паче сохраняя благополучие и целость государства своего", повелела публиковать указами, чтоб помещики, управители и экононы крестьян и людей своих кормили, по миру ходить не допускали и семенами снабдевали, дабы земля праздна не лежала. Но указы не имели надлежащего действия, и в конце года явился новый указ, в котором говорилось, что крестьяне, не получая ссуды и вспоможения, терпят в хлебе великую нужду, земли к будущему году засеяны рожью не все, крестьяне бродят по миру и иные бегут в разные места; в указе накрепчайше подтверждалось помещикам, духовным властям, управителям и приказчикам кормить крестьян и снабдить семенами для посева ярового хлеба, грозя в противном случае жестоким истязанием и вечным разорением; губернаторы, воеводы и штабных дворов офицеры будут подвергнуты тому же, если не будут наблюдать за исполнением указа и репортовать об ослушниках. Но пришли известия, что бедствие достигает высшей степени, во многих местах крестьяне от голода пухнут, лежат больны, а некоторые и умирают, и потому в начале 1735 года Сенат приказал купить провиант в Нижнем до 5000 рублей, в Арзамасской провинции - до 2000, в провинциях и городах Московской губернии - до 6000 и раздавать этот хлеб совершенно неимущим, которые крестьян своих пропитать не могут, займы с расписками и самим крестьянам, ходящим по миру, давать в милостыню с записками; в Москве, Смоленске и Твери производить такую раздачу из магазинов, при этом смотреть, чтоб не раздавали таким, которые сами крестьян своих

прокормить могут, как в 1734 году делал московский вице-губернатор Вельяминов-Зернов. Крестьяне от голода бежали; их ловили и отдавали прежним землевладельцам, но по указу 1721 года беглого при отдаче должно было наказывать кнутом, чтоб другим бегать было неповадно; нашли жестоким применить этот закон к крестьянам, бежавшим от голода, и в 1736 году издан был указ, чтоб беглых наказывать кнутом или кошками, плетьюми или батогами по воле помещиков, а дворцовых и церковных крестьян - по воле их начальников, кто кого как пожелает наказать.

Вступление русского войска в Польшу дало возможность отыскивать в ее владениях и возвращать русских беглых крестьян, но с выходом войска оттуда в 1735 году эта возможность начала прекращаться. Смоленский губернатор Александр Бутурлин доносил в 1735 году, что из пограничных польских мест беглых крестьян высылают, а из отдаленных сами собою беглые очень редко выходят, а принудить их к тому нельзя, хотя и ездят туда смоленские помещики; поляки только вид делают, что готовы выдать, а крестьяне по взятии их снова уходят и уже скрываются, потому что крестьянство от польских обывателей так приманено и приласкано слабостью и вольностью, что, который мужик и возвратится, и тот уже никакой работы лишней перед тамошней понести не может и всячески проискивает, как бы опять уйти, и для того, будучи во дворе своем, ничего не прочит и не радеет о себе. Бутурлин предложил странное средство к удержанию русских крестьян от бегства в Польшу: которые крестьяне не бегали, с тех брать подати по-прежнему, а которые возвратились из бегов, с тех брать с уменьшением, именно сколько в Польше берут. Увидя это, многие и не подумают бежать, и ушедшие с радостью возвратятся, даже природные поляки многие переселятся в Россию для избежания происходящих у них междоусобий и беспокойств.

Бегство крестьян, конфискация купеческого имущества при взыскании доимок, разумеется, препятствовали развитию торговли, процветанию городов. Летом 1734 года Татищев, едучи в Сибирь, писал с дороги, из Нижнего, Остерману, что урожай плохой, потому что мало сеяно, и крестьяне бегут толпами. Несмотря, однако, на это, он нашел, что в городах хлеб был недорог, прежде был дороже; доискиваясь причины такого удивительного явления, Татищев нашел, что дешевизна хлеба происходит от великой скудости в деньгах, стал расспрашивать, отчего денег мало, и узнал, что купечество везде упало и почти не торгует, крестьянских товаров не покупает, ибо на всем почти купечестве великая доимка показана, дворы и пожитки описаны; в Переяславле-Рязанском было описано более двух третей посадских дворов, отчего некоторые, и будучи в состоянии торговать, но, надеясь оправдаться в доимке, не торгуют, другие торговали на кредит, но теперь никто им не верит. В Нижнем Татищев знал многих купцов, которые торговали тысяч на десять и больше, а в описываемое время ничем не торговали. Макарьевскую ярмарку Татищев нашел в очень дурном положении. Относительно внешней торговли

продолжались еще завещанные древнею Россиею жалкие хлопоты о продаже так называемых казенных товаров. В 1732 году Сенат нашел, что отправлять казенный товар - поташ - на русских кораблях от Архангельска за границу на комиссию очень убыточно, что гораздо полезнее продавать казенные товары при русских портах верным купцам. При этом Сенат представлял необходимость уменьшить добывание поташу и смольчуга, ибо во многих местах, где бывали поташные и смольчужные заводы, там стали степи и на дрова лесу не осталось. Выгоднее было, по мнению Сената, умножить железное и медное производство. Но по указу императрицы поташ и железо были отданы купцам Шифнеру и Вольфу по 12 ефимков за берковец; продан был весь наличный поташ, да, кроме того, казна обязалась поставлять им по 2000 бочек ежегодно в продолжение пяти лет для чего приписано было на поташные заводы 10000 душ крестьян к прежним 17000.

Для увеличения доходов старались усилить промыслы, в неурожайные годы заставляли землевладельцев кормить крестьян и снабжать их семенами, но для всего этого нужны были капиталы, а их было мало в бедной непромышленной стране; кто хотел занять денег для заведения или усиления промысла, для прокормления крестьян, на покупку семян во время голода, тот с трудом мог найти денег, и если находил, то должен был платить большие проценты, которые делали заем разорительным. В указе 1733 года говорится, что многие, имея нужду в деньгах, принуждены занимать у иностранцев и своих с несносными великими процентами и с такими закладами, которые вдвое больше занятых денег, процентов дают по 12, 15 и 20, чего во всем свете не водится, и случается, что проценты вычитают из данных денег вперед; есть и такие бессовестные грабители, что, если должник пропустит хотя несколько дней за срок, не отдадут заклада, хотя бы и деньги приносил. Вследствие этого императрица для государственной и всенародной пользы указала монетной конторе давать займы деньги всякого чина людям за 8 процентов в год с залогом в золоте или серебре, и в случае неплатежа из заклада бралась только данная сумма, остальное же возвращалось должнику.

Большие проценты, заключая в себе большую страховую премию, указывали также ясно на неудовлетворительное состояние правосудия в стране, причем заимодавец не мог надеяться получить при своем иске скоро безубыточное удовлетворение; потому же для обеспечения требовались и заклады. В конце 1732 года императрица жаловалась, что как в Петербурге, так и в областных городах в правлениях и судебных местах дела отправляются не с таким порядком и прилежанием, как требуют регламенты и указы. В Переяславле-Залесском двое помещиков велели людям своим убить одного крестьянина Троицкого Сергиева монастыря, и те задавили несчастного. Наряжена была особая комиссия для следствия по этому долу и в 1736 году открыла, что воевода и секретари из-за взяток покрывали виновных. Воеводу и секретарей велено было казнить смертью "и о такой экзекуции публиковать во всем государстве, что ежели кто

также будет неправо и в противность указов и изо взятков дела производить, то таким тож чинено будет безо всякие пощады".

Порядочные почты существовали только от Петербурга до Москвы, от Москвы до Украины и в Украине до Киева. Только в 1740 году встречаем указ, чтоб и во все другие губернии и провинции *к знатным городам* учреждены и порядочно содержаны были почты как для лучшего отправления купечества, так и для всяких других потребностей.

Успехи промышленности и торговли находились также в тесной связи с состоянием общественной безопасности, с состоянием полиции. Понятно, что императрица Анна относительно охранения порядка полагалась особенно на своих родственников по матери, Салтыковых, и потому в 1732 году назначила генерал-полицеймейстером генерал-майора Салтыкова, который был обязан иметь "главную дирекцию над всеми полициями в государстве". Но над чем ему было иметь главную дирекцию? Несмотря на распоряжения Петра Великого, в самых значительных городах полиций не было; в 1733 году Полицеймейстерская канцелярия представила императрице доклад об учреждении полиции в десяти губернских и тринадцати провинциальных городах; императрица утвердила доклад. Одним из побуждений к этому распоряжению был доклад принца гессен-гомбургского, который, возвратившись из Астрахани, жаловался, что в этом городе от несоблюдения чистоты господствует самый вредный и язвительный смрад. Но в 1737 году Сенат признал за лучшее отдать полицию в городах, кроме двух столиц, в ведение ратуши на том основании, что если определить в те полиции особых офицеров и дворян, то надобно давать им жалованье и определить к ним приказных служителей и рассыльщиков с жалованьем же, от чего будет казенный убыток; притом от этих офицеров и дворян будут обывателям обиды. В 1733 году, принимая снова меры против бродяжничества, вспомнили указы Петра Великого, который, вооружаясь против способных к работе тунеядцев, приказывал в то же время строить богадельни для неспособных работать; Сенат приказал построить в Петербурге 17 богаделен при церквах, так чтобы с прежде существовавшими было 20; в них должно было давать приют четверемстам человекам мужского и женского пола, помещая по 20 человек в каждую богадельню.

В 1734 году голод увеличил число нищих, и потому разрешено было подавать милостыню; кроме того, были приняты чрезвычайные меры: у помещиков и хлебных торговцев описали хлеб, чтоб не продавали высокою ценою; продажа хлеба производилась беспошлинно, движение хлеба в Петербург для вывоза за границу остановлено; в провинциях, терпящих от голода, велено остановить взыскание подушных денег. В 1736 году правительство должно было признаться, что указы против бродяг недействительны; как в Петербурге, так и во всех других городах число нищих увеличилось и час от часу увеличивается, от множества их трудно проезжать, и все люди способные к работе. Таких, если они не были

наказаны, велено было брать в военную службу, а наказанных употреблять на казенные работы. Через два года видим новое признание правительства, что указы его против нищенства недействительны. В начале 1740 года опять именной указ, что бродящих нищих людей многое число, а в середине года другой с тою же жалобою и перечислением всех прежних указов.

Другое, почти постоянное в русских городах бедствие должно было обращать на себя внимание полиции - пожары. В 1735 году объявлено петербургским жителям с подпискою, чтоб чистили трубы и смотрели за их твердостью. В следующем году велено уничтожить пивоварни между жильем. Полиция содержала печников и трубочистов; последние получали с обывателей по копейке с каждой печи. Во время сильного пожара в Петербурге в 1736 году "многие от солдат и матросов беспорядки происходили, и вместо тушения пожара многие из них только в грабеж и воровство пуще разбойников ударились: на почтовом дворе из тех пожитков, которые от самих хозяев выношены были, сундуки насильственно разломали, пожитки растащили, письма и бумаги разбросали и, одним словом сказать, так поступали, что и в неприятельской земле хуже поступать было невозможно". В Москве сильный пожар 3 июля 1736 года под Новинским и около Арбата, во время которого сгорело 817 дворов, заставил распорядиться, чтоб улицы были широкие, свободные и прямые, от четырех до девяти сажен в поперечнике; московская ратуша должна была содержать четыре большие заливные трубы. Но в то время как хлопотали о предупреждении пожаров в отдаленных частях древней столицы, страшное бедствие постигло части самые значительные и населенные. 29 мая 1737 года, в Троицын день, в одиннадцатом часу утра загорелось недалеко от Каменного моста, в приходе Антипы Чудотворца, в доме Милославского. Поварова жена зажгла в своем чулане восковую свечу перед образом, а сама пошла в кухню готовить кушанье; свеча отпала от образа и зажгла чулан, а увидеть и погасить было некому: все люди были у обедни. При страшном вихре пламя начало разбрасывать во все стороны, выгорел Кремль, Китай и Белый город, в Земляном выгорели Басманские улицы, старая и новая, Немецкая слобода, Слободской дворец, Лефортовская слобода. Пожар длился до четвертого часа утра 30 числа. Сгорело внутри 39 церквей, обгорело снаружи 63, монастырей - И, дворцов-4, богаделен-17, частных домов-2527, людей погибло 94 человека. В Кремле сгорели: конюшенный двор, цейгауз, синодальный двор, житный двор; в Китае между сгоревшими зданиями упоминаются: библиотека, комендантский двор, аптека, печатный и посольский дворы, ряды. В сенатском архиве сгорело 926 переплетенных книг с делами по Сенатской канцелярии, 32 книги с делами Вышнего суда, в Главной дворцовой канцелярии в архиве сгорели старые и новые дела и протоколы этой канцелярии, также дела бывшего приказа Большого дворца, писцовые, приходные, расходные и прочие книги и всякие ведомости, всего в десяти палатах; сгорел архив московской ратуши; сгорели окладные и доимочные книги московским дворам и домовым баням, так что и споры о землях решать стало не по чему. Из коллегий, канцеляций, контор и приказов

показано убытку на 414825 рублей; по заявлениям частных лиц, убытку понесено ими на 1267384 рубля, но многие сказок не подали.

29 мая Москва сгорела от денежной свечки, но 4 июля за Москвою-рекою, в доме секретаря Остафьева, произошел пожар: воровские люди зажгли сушило. 8 июня за Петровскими воротами, на дворе девицы Волынской, у крестьянина ее в избе нашли заткнутый в стену сухой порох, завязанный в тряпку. На другой день прислана была к розыску дворовая девка князя Мих. Влад. Долгорукого Марфа Герасимова с тряпицей и горелым охлопком, которыми она зажигала в доме своего господина на Тверской, и с одного розыска повинилась; ее сожгли живую. 13 июня загорелось у Ильи Пророка на Воронцовом поле: плотник повинился, что зажег с сердца на хозяина, который в Троицын день не накормил его и не напоил пивом. В том же месяце в Петербурге, на Адмиралтейской стороне, в Греческой улице, подле дома цесаревны Елисаветы Петровны, у иностранного купца Линзена на крыше найдена кубышка смоленая, внутри оклеена бумагою, обвязана мочалом, и сверху в твориле ее насыпано пороху золотника с два.

Этим пожарам в столицах летом 1734 и 1735 годов предшествовали пожары лесные. В июле 1735 года императрица писала генералу Ушакову: "Андрей Иванович! Здесь (в Петербурге) так дымно, что окошка открыть нельзя, а все оттого, что по-прошлогоднему горит лес; нам то очень удивительно, что того никто не смотрит, как бы оные пожары удержать, и уже горит не первый год. Вели осмотреть, где горит и отчего оное происходит, и притом разошли людей и вели как можно поскорее, чтоб огонь затушить".

Наконец, нужно было принимать меры против третьего народного бедствия - повальных болезней. Здесь средства государства были так же недостаточны, как и средства против пожаров у московской ратуши, у которой было четыре заливные трубы на всю Москву. В 1737 году Главная полицеймейстерская канцелярия представила в Медицинскую канцелярию, что в Пскове в одну неделю заболело головою болезнью 355 человек, из которых умерло 8, болезнь все усиливается, а в городе лекарей нет. Медицинская канцелярия донесла императрице, что у нее лишних докторов и лекарей нет; есть штатт-физикус с лекарем, но и те нужны в Петербурге; в Москве при ратуше есть лекарь, которому жалованье производится от той же ратуши, и необходимо, чтоб и в других губерниях и провинциях обыватели содержали лекарей. Определено, что по крайней мере в знатные города Медицинская контора должна назначить по лекарю, которые будут получать жалованье из ратуш, одинаковое с полковыми лекарями, и, кроме того, квартиру; лекарства они должны заготовлять сами и брать за них плату от больных.

Как относились в провинциях к медицине, можно видеть из донесения архиатеру из Новопавловска от аптекарского гезеля Ролофа в 1735 году: "С порученною мне полевою аптекою прибыл я сюда счастливо и сейчас же

явился доктору Санхесу и подал ему свою инструкцию; тот мне сказал, чтоб я шел к коменданту Либгеру, который укажет мне дом. Но Либгер отвечал мне, что дома у него нет, потому что порожние дома берегутся для генералов, если приедут, а прочие все солдатские дома. На другой день после того приказал он мне чрез господина квартирмейстера отвести три двора: в каждом дворе только одна изба, в которую если три или четыре человека войдут, то повернуться не могут. Я репортовал об этом доктору Санхесу, и тот пошел вместе со мною к генералу Дебрины, а генерал послал со мною адъютанта к Либгеру с приказом, чтоб отвели мне хороший дом. Либгер отвечал, что домов про аптеку у него нет. Тут сидел у него бригадир Пашков и говорил: "Все приезжают из Москвы и хотят здесь великими господами быть: и лекаря, и доктора, и аптекаря; доктор требует дом на госпиталь, и уксус, и постели; все бы это привозили с собою из Москвы, и дома также". Я сказал: господин бригадир! Это не моя аптека, но ее величества, мне она поручена, я за нее отвечаю. Бригадир отвечал на это: можешь свою аптеку под горою поставить и сеном обернуть. Я отвечал, что не могу с аптекою ее величества так поступить. Тогда он мне сказал, чтоб я держал рот за замком; он видел в моей инструкции, что я только гезель, и давал мне весьма злые слова, и я пошел прочь, ибо, кроме того, хотел приказать меня прибить. О господи! После такого тяжелого пути хотят так со мною поступать! Больше четырех недель я на улице спал и здесь, в Новопавловске, уже две ночи с аптекою на улице стоял".

Когда в 1737 году в Москве свирепствовала горячка с пятнами, то народ искал причину болезни в том, что ночью на спящих людей привели слона из Персии. Но правительство находило другие причины: в 1738 году оно объявило, что болезни в Петербурге могут умножиться от привоза на продажу весьма дурного мяса; полиция должна была послать офицеров и лекарей для осмотра продаваемого мяса. В том же году Синод получил из Кабинета указ ее величества, что несмотрением священников могилы копают мелкие и земли над ними не утаптывают, отчего тяжелый дух чрез рыхлую землю проходит. Наконец, в именном указе 1739 года встречаем жалобу императрицы на полицию, которая нимало не смотрит, что по пустырям и глухим местам мертвечина валяется и множество непотребных собак в городе бегают и бесятся; 16 сентября одна бешеная собака вбежала в Летний дворец и жестоко изъела двоих дворцовых служителей и младенца. От пожаров и моровых поветрий не обеспечивала слабая полиция и бедные средствами городские ратуши; не обеспечивали они жизни и собственности граждан от другого бедствия, которое продолжало свирепствовать в обширных размерах, - от разбоев. В 1732 году до сведения императрицы дошло, что в городах Московской губернии происходят немалые разбои; в Дмитровском уезде воровские люди разбили дом стольника Татищева; для поимки воров велено послать военные отряды. Через два года отправлен был в Москву к графу Салтыкову из Кабинета именной указ об искоренении многих разбойничьих компаний около Москвы, из которых присланы были три письма к фельдмаршалу

Брюсу с требованием денег и с великими угрозами в случае неисполнения требования. В 1735 году Сенат, по докладу Полицеймейстерской канцелярии, велел вырубать леса от Петербурга до Соснинской пристани по *проспективной* дороге, чтоб вора́м пристанища не было, а так как воровство умножилось близ самого Петербурга, многих людей грабят и бьют, то для их искоренения Военная коллегия и Полицеймейстерская канцелярия должны были отправить пристойную партию драгун или солдат. Велено было очищать и новгородскую дорогу от лесов по 30 сажен в обе стороны, потому что умножились воровские компании. В 1736 году девять человек разбойников днем ворвались в келью игумена московского Сретенского монастыря, били его, ранили в голову ножом, побрали деньги и вещи. В апреле 1735 года, на Пасхе, в Шацком уезде, на Вышенской пристани, воровские люди, человек со 100, которые работали на той пристани на стругах у купцов по паспортам, пристань разбили дневным разбоем, взяли у купцов, на кабаке и в таможене тысячи с две денег, убрались в лодке и поехали по реке Выше; ночью подплыли к пристани Солтыковской и в селе Благовещенском-Солтыкове разбили помещичий двор, приказчиков мучили и жгли огнем, двоих конюхов убили. Потом поехали вниз по Выше-реке и, выплыв в реку Цну, пристали к селу Конобееву, ночью напали на помещичий двор (Нарышкина), приказчика застрелили и деньги у него побрали; отправившись отсюда вниз по Цне, подъехали под село Сасево, днем разбили таможеню, кабак и соляной двор, взяли денег тысяч с пять. В Сасево от шацкого провинциального начальства было выслано несколько солдат, которые и вступили в бой с разбойниками, но те убили и ранили сасевских крестьян, человек с десять, поехали вниз по Цне, разорили многих помещиков и приказчиков. Остановившись в селе Ушакове, они дали священнику 3 рубля денег, чтоб поминал конобеевского приказчика и убитого их товарища, да еще дали три рубля, на которые велели купить колокол. Подъехавши Цною к селу Агламазову, вызвали священника с образами на берег, подходили ко кресту и давали священнику по копейке и по деньге; в селе Зляткове заставили священника служить молебен и за то дали ему денег пять рублей да в церковь камки красной аршин. Отправлены были солдатские команды по рекам для перехвата разбойников; началась война: в 30 верстах от Нижнего, на Оке, разбойники осилили гнавшуюся за ними команду, убили начальствовавшего ею поручика. "Разбойнические компании чинили вверх по Оке великие разорения и смертные убийства".

В 1740 году в Ярославле на полотняной фабрике Ивана Затрапезнова открыт был заговор фабричных, о котором один из главных заводчиков так рассказывал: "В прошлом, 1739 году был я в большом кабаке с другими фабричными, и во время питья сошлись с нами из бурлаков человек пять, из них одного зовут Смолою, и все эти бурлаки работали на бумажной мельнице Затрапезного. Во время питья бурлаки начали говорить мне и товарищам моим: "Что вы на фабрике так терпите, воли вам пошалить нет, бьют вас и держат в колодках; лучше вам хозяина своего Затрапезного убить и фабрику его выжечь, от того была бы вам воля". Я стал звать

Смолу и товарищей его делать дело вместе, но бурлаки не пошли, а сказали: "Теперь бурлаков мало, соберем их в другой год с Низу человек сто". В нынешнем, 1740 году, будучи на большом кабаке, уговорились мы с товарищами сделать так: собравшись, идти ночью за фабрику в лес, из лесу, разобрав от поля забор, войти на мануфактурный двор, зарезать караульных, стоящих у казенной палаты, потом одному, зашедши от конюшни, зажечь, а прочим вломиться в хоромы, зарезать хозяина и всех живущих при нем людей, разломать Двор казенной палаты, забрать все, что там имеется, и идти на Низ, на Демидовы заводы, а лодки и паспорта хотели промыслить у бурлаков, в чем *посулился* нам тот же Смолла. Хозяина своего убить хотели мы за то, что он поступает не так, как брат его Димитрий: Димитрий Затрапезнов, когда мы и провинимся, не наказывает, как хозяин наш Иван, за грабежи, драки и озорничества больно наказывает и велит в колодках держать немалое время, что нам очень скучно". В 1739 году казнили в Москве разбойника князя Лихутьева. В 1740 году в самой Петербургской крепости воры убили часового и украли несколько сот рублей казенных денег. Для сыску воров и разбойников назначен был особый постоянный отряд войска под начальством подполковника Реткина, который имел пребывание в Нижнем Новгороде. В 1732 году из взятых им 440 человек 20 убийц были казнены смертью, 15 воров и разбойников, беглых солдат были сосланы на вечную каторгу, 85 воров-пристанщиков по наказании кнутом и батогами освобождено, беглых солдат и рекрутов отослано на службу 6 человек, умерло под караулом 14, отослано к гражданскому суду 10, прочие освобождены. В 1733 году из 424 человек казнено смертью 11, сослано на вечную каторгу 23, пристанщиков наказано и освобождено 91, к гражданскому суду послано 27, беглых солдат - 19, умерло под караулом 30. В 1734 году из 570 казнено смертью 24, сосланы 18, по наказании освобождено воров и татей 160, к гражданскому суду отослано 45, беглых солдат - 50, умерло под караулом 25, убежало из-под караула 2. В 1735 году из 633 казнено смертью 94, сослано 29, по наказании освобождено 168, беглых солдат - 21, под караулом померло 56. В 1736 году из 835 смертью казнено 102, сослано 37, по наказании освобождено 157, беглых солдат - 21, под караулом померло 26.

Все описанные явления - побеги, голод, повальные болезни, недостаток медицинских пособий, разбои - не могли содействовать быстрому увеличению народонаселения. В конце царствования Анны в великороссийских губерниях считалось жителей 5565259 человек мужеского и 5327929 женского пола.

Жестокость казней свидетельствовала о жестокости нравов, не смягчившейся со времен Уложения. Те же времена напоминало другое явление, против которого с конца XVII века постоянно вооружалось правительство, и все понапрасну: то была привычка к скорой езде, имевшая нередко очень печальные последствия и обличавшая дикую, степную удаль и неуменье сдерживать себя вниманием к безопасности и удобству других членов общества, а это неуменье обличало и, к сожалению, обличает до сих

пор незрелость русского общества, непонимание самых первых приемов общественных. В 1732 году правительство объявило, что, несмотря на прежние указы, многие люди и извозчики ездят в санях резво и верховые их люди перед ними необыкновенно скачут и на других наезжают, бьют плетьюми и лошадьми топчут; за такую езду указ грозил жестоким наказанием или даже смертною казнью. Угроза не помогла, и в 1737 году новый указ с жалобою, что прежний не исполняется, и с угрозою, что за скорою езду лакеев будут бить нещадно кошками, а с господ брать денежный штраф. Но в конце того же года какие-то люди парой в санях с дышлом насккали на фельдмаршала Миниха, ехавшего также в санях, и самого его чуть не зашибли, а стоявшего на запятках адъютанта так ударили, что едва остался жив; вследствие этого новый указ - скоро и с дышлами в санях не ездить. И этот указ оказался недействительным: в ноябре 1738 года от скорой езды задавили ребенка до смерти; новое запрещение, и теперь уже придумали другое средство кроме угроз: на больших улицах велено обывателям учредить денные караулы, которые должны были ловить и приводить в полицию тех, кто помчится на бегунах или в санях с дышлами, также извозчиков, которые поедут на санях, а не верхами.

Конечно, в этом пренебрежении указами против скорой езды не без участия был господствовавший в то время порок - пьянство; этот порок не только был терпим, но в некоторых случаях даже требовалось быть шумным. Оставленный главнокомандующим в Москве граф Семен Салтыков писал Бирону в мае 1732 года: "Прошедшего апреля 28, в день коронования ее и. в-ства, здесь торжествовали в доме ее и. в-ства обретающиеся здесь, в Москве, архиереи, и господа министры, и генералитет, и дамы, и статские чины, и лейб-гвардии полков штаб - и обер-офицеры, также и других полков штаб-офицеры, обедали и все веселились довольно и очень были шумны, так что иных насилу на руках снесли, а иных развезли, однако ж все по благодати божией благополучно; токмо в то число Федор Чекин был беспокоен. Как еще сидели за столом и не очень были шумны, то он, Чекин, многова не пил, и которые офицеры подносили, пришли ко мне и сказали, что он, Чекин, не пьет, и я ему стал говорить: ведаешь ли, что ты в доме ее и. в-ства, а не хочешь пить и сказываешь, что будто вино худо, ведь ты это зашел не в Вотчинную коллегию и не на Каток, и оное я ему сказал для того, что он, Чекин, беспрестанно живет в Вотчинной коллегии и кабаке, что подле Вотчинной коллегии, который называется Каток; и он стал со мною в спор говорить и хотел браниться, только я с ним браниться и в спор говорить не хотел в доме ее и. в-ства и в такой торжественный день; токмо я против него умолчал и так сделал, что будто ничего не слышал, а потом Григорий Петрович Чернышев через стол начал с ним говорить, что он не пьет и выбирает вино: ведаешь ты, что дом ее и. в-ства, и он, Чекин, к нему придирался, однако ж Григорий Петрович от того умолчал и не хотел с ним браниться и показал, что будто ничего не слышал; да герольдмейстер Квашнин-Самарин объявил мне, что в то ж число, как из стола в зале в

наугольной встали и пили на коленках, и как стал пить он, Квашнин-Самарин, то пришед к нему оный Чекин и толкнул его, Квашнина-Самарина, больно, отчего он упал и парик с головы сронил и стал ему, Чекину, говорить: для чего ты так толкаешь, этак генерал-поручики не делают, а он, Чекин, сказал, что я тебя толкнул в надежде, и он, Квашнин-Самарин, сказал ему, что эта надежда худа, что больно, и после, как уже все стали разъезжаться, он, Чекин, пришед в покои, где я по ее и. в-ства милости живу, и в тот час вышел я в другой покой ненадолго, и без меня в тот час он же, Чекин, убил (т. е. прибил) дворянина Айгустова, с которым у него в Вотчинной коллегии дело, который был в те числа у меня, а как я вшел в покои и увидал, что оный Айгустов плачет, и я ему, Чекину, стал говорить, для чего так в доме ее и. в-ства противно делает и дерется, и он, Чекин, со мною стал говорить противно, и я его, Чекина, велел выслать из дому ее и. в-ства, а после того он же, Чекин, пошел к князю Ивану Юрьевичу и стал ему на меня жаловаться и бранил меня у него м....., за что и от него, князь Ивана Юрьевича, он, Чекин, выведен из дому. Он же, Чекин, дворянину Айгустову чинит многие обиды и разорил его без остатку, от которого его разорения оный бедный Айгустов живет у меня, и я его кормлю для того, что он, Чекин, разорил его вконец, да и где оный Чекин в соседстве не живет, то великие жалобы на него показывают в земле и в прочих непорядочных его поступках, и я с оным Чекиным не смел ничего сделать, для того что он имеет чин генерала-поручика, и правда, что всем нам этот его чин только стыд наносит".

Из столиц, от пиров, происходивших в высокаторжественный день в доме ее и. в-ства, от любопытных отношений главнокомандующего к генерал-поручикам перейдем в провинцию, к нравам и обычаям, в ней господствовавшим. Здесь мы должны, собственно, ограничиться образом жизни одного высшего, дворянского сословия, или, как тогда называли, шляхетства, и только по отношению к нему можем что-нибудь сказать и о других сословиях. Причина, почему мы должны таким образом ограничиться, ясна: благодаря мерам Петра Великого дворянство сделалось сословием обязательно грамотным, образованным; вследствие этой образованности в его среде явились люди, которые не хотели прожить молча, которые имели способность наблюдать окружающие их явления, подмечать особенно любопытные и прилагать к ним свои новые взгляды, судить о явлениях по соответствию или противоречию их этим новым взглядам. Мысль передать свои воспоминания в литературной форме пришла к ним гораздо позднее описываемого времени вследствие новых побуждений, вследствие дальнейшего общественного развития, но воспоминания их молодости относятся к описываемому времени, и мы должны ими воспользоваться. Из других сословий могли выходить люди ученые, и величайшего из русских ученых выставило низшее сословие, крестьянское, но эти ученые, посвящавшие все свое время науке и литературе, не имели времени и побуждений записать подробно свои воспоминания. Таким образом, о состоянии духовенства, купечества, крестьянства мы можем узнать из императорского указа, из письма

правительственного лица или из записок дворянина, но понятно, что дворянин больше всего рассказывал о своих.

В описываемое время жили безвыездно в своих имениях старики, носившие еще допетровские чины, например стольников, носили бороду и жили воспоминаниями о старой Москве; для них Полтава, "преславная виктория", не имела значения, но подробно рассказывали они о Чигиринском походе, в котором участвовали. Жили они по старине в высоких хоромы на омшниках, снизу в верхние сени вела предлинная лестница, которую покрывал своими ветвями стоявший близ крыльца широкий и густой вяз. Но высокие хоромы состояли только из двух жилых горниц, разделенных сенями: в одной горнице хозяин жил летом, в другой зимою. У других, победнее, особой кухни не было, сени разделяли две горницы, из которых одна была белая, другая черная; в последней готовили кушанье. Говорили эти старики странною речью, да и не они одни, а у всех, как говорят, была такая мода или привычка: примешивали к словам какую-нибудь ничего не значащую примолвку, например: "*неты юж дарюку*" или "*воистину положи меня*". Явление любопытное, показывавшее, как мало слово соответствовало мысли, как мало обращалось внимания на точность и ясность выражения, вследствие чего в речи и являлись совершенно ненужные наросты, слова и целые выражения - паразиты. Около стариков толпились внучата, воспитывавшиеся уже иначе, выраставшие под другими впечатлениями, но послушаем, что рассказывает ребенку старушка родственница, жившая в доме; она рассказывает не сказку, а истинное происшествие, как ее дедушка, которого она еще помнила, был взят в плен татарами и долго томился в тяжелой неволе; стариком удалось бежать ему из плена; он возвращается в свое поместье и видит, что все переменилось: старого дома его уже нет. "Чьи вы?" - спрашивает он у встречного крестьянина; тот называет его племянников. А где же семья прежнего помещика? Сыновья побиты на войне, жену разбойники разбили и до смерти замучили.

Второе поколение дворян, живущих в поместьях, - это отставные офицеры и солдаты петровского войска. У них уже другие предания, как, например, у одного государь сам ножницами отрезал висящие на жилах отстреленные при нарвском штурме пальцы, причем в утешение страждущему изволил сказать: "Трудно тебе было". И в это время еще сохранялся родовой быт, родовое единство и самоуправление. Младший брат получает от матери в исключительное владение ее четвертую вдовью часть имения; старший брат созывает всех членов рода, которые принуждают младшего удовольствоваться четвертым жребием матери и не вступаться в отцовское имение. Младший, обремененный семейством, не мог жить доходами с этого материнского участка и обратился с просьбою к сильному благодетелю; по влиянию этого благодетеля он получил место по управлению вотчинами Троице-Сергиева монастыря, стал получать отсыпной хлеб и деньги. Но тут опять является родовое единство и авторитет: родственники сочли бесчестием для целого рода, что один из

членов его "определился к монастырю, отрешили его по просьбе своей от монастырской должности и положили содержать его на своем общем иждивении". Тут же видим и признаки падения могущественного некогда начала; только один из членов рода долее других сдерживал свое обещание, помогал младшему, а потом и он, подобно остальным, ограничился одним сожалением. Служба монастырю считалась неприличною между дворянами, но по-прежнему искали они средств покормиться от государственной службы: так, привлекали их новые полицейские должности, потому что, по свидетельству одного из них, "все полицейские офицеры живут довольно". Воеводы кормились по-прежнему; видим и еще способ собирать кормы, известий о котором не встречаем прежде: в Рождество воевода отпускал сыновей своих и проживавших у него молодых родственников в уезд Христа славить и с ними посылал по пяти и больше порожних саней: славельщики каждый день привозили эти подводы, наполненные хлебом и живыми курами, также по нескольку денег; где воеводичи не славили, там собирали кур воеводские люди.

Относительно военной службы этого второго поколения, особенно тех из них, которые, ничем не отличаясь, служили весь век в солдатах, встречаем любопытные известия в записках; напри мер, одному из мелких помещиков, Астафьеву, служившему солдатом в гвардейском Семеновском полку, "досталось наследств 900 душ; он старался оное наследство за себя справить по закону но в Вотчинной коллегии учинены были от родственников его споры, которые хотели быть ему в наследстве участниками. Астафьев подарил свою прежнюю вотчину (50 душ) бывшему тогда в Вотчинной коллегии секретарю Каменеву; Каменев, получа деревню, рассмотрел дело в коллегии вправду и утвердил законным наследником Астафьева. Тот, получа большое наследство, неприлежно стал уже в полку служить, а как в тогдашнее время отставки от службы не было или трудно ее получить было, то он нашел милостивца в полковом секретаре, который его отпускал в годовые отпуска за малые деревенские гостинцы. Секретарь доволен был, когда за паспорт получит душек двенадцать мужеска пола с женами и детьми с обязательством таковым, когда Астафьев на срок оных подаренных крестьян не вывезет, куда назначено было, тогда неустойка награждалась прибавкою к двенадцати душам. Чтоб не потерять дружбы, таковым полезным от секретаря отпуском Астафьев пользовался каждый год по договору. При самом уже его в отпуск отъезде из полку не оставят у него писари полковые и ротные постели и подушек, хотя он даже сидел в кибитке, и то вытаскивали из-под него и делили по себе, как завоеванную добычу. Полковой писарь гораздо был совестнее секретаря своего: он брал только по одному человеку на паспорт. Астафьев, пользуясь частыми отпусками, не видал конца своему имению, веселясь в деревне, живучи разными забавами. Один из дядьев его родных зазвал к себе племянника, для которого делал веселое собрание и пир, да и взял с него закладную в 5000 рублей на село, что наилучшее, а денег за оное село едва получил Астафьев одну тысячу рублей. Напоследок за великою его слабостью усовестился секретарь гвардии держать

Астафьева на своей шелковинке: оставили его из полку в отставку, только на провозаньи недешево ему стало. Пожив в деревне больше уже в болезни и пьянстве, нежели в веселостях, укрепил деревни своей жене; после того вскоре умер. Вдова претерпела великое притеснение от наследников мужа своего; они запретили в деревнях ее слушать и ничего ей не давать, а на отправленный из деревни запас для нее в Москву дорогою набегли и разграбили, как разбойники".

Помещик, чтоб получить годовой отпуск из полку, давал секретарю взятку - по 12 *душек* крестьян, писарю - по одной душе; чтоб выиграть 900 душ, дарит секретарю Вотчинной коллегии имение с 50 душами. Таким образом, мы имеем дело с государством землевладельческим, первобытным, где нет развитой промышленности и торговли, где нет денег; а где нет денег, там вольнонаемный труд невозможен и господствует рабство, крепостное право. В старину правительство, не имея денег, платило своим слугам жалованье землею; землевладельцы, не имея денег, отдавали монастырям на помин души земли. К землям прикрепили крестьян, чтоб дать служилому человеку постоянного работника; человек, рабочая сила, был дороже земли, ибо земли было много, а людей мало, имение ценно по населению, а не по количеству и качеству земли, и потому сейчас же счет начался вестись душа ми: он имеет столько-то душ, потому богат или беден, а количеств земли имеет второстепенное значение, и взятки даются душками крестьянскими на своз, а не десятинами земли.

Относительно обращения душевладельцев с этими душками, которыми давались взятки, встречаем примеры хороших и дурных господ; например, об одной помещице говорится, что она "повелевала своими служанками более ласкою, нежели дворянскою обыкновенною властью". Но последнее выражение *обыкновенная* власть показывает, что обхождение доброй помещицы было явлением не очень обыкновенным; хотя, с другой стороны, как что-то необыкновенное также выставляется и такое обращение: "Вдова охотница великая была кушать у себя за столом щи с бараниной; только, признаюсь, сколько времени у нее я не жил, не помню того, чтоб прошел хоть один день без драки: как скоро она примется свои щи любимые за столом кушать, то кухарку, которая готовила те щи, притаща люди в ту горницу, где мы обедаем, положат на пол и станут сечь батожем немилосердно, и покуда секут, и кухарка кричит, пока не перестанет вдова щи кушать; это так уже введено было во всегдашнее обыкновение, видно, для хорошего аппетита".

Не всегда крестьяне спокойно переносили такое обращение: один данковский помещик подал прошение в Воеводскую канцелярию, что крестьяне его сделались ему непослушны. "Воевода, собрав сколько у него при канцелярии было солдат и рассыльщиков с ружьями и копьями, послал подьячего по инструкции забрать крестьян-ослушников в канцелярию для наказания, но бунтующие крестьяне приготовились заранее к принятию таковых не званых к себе гостей, не забыли вооружить себя камнями,

поленьями, дубьем и рогатинами для своего защищения. Притом они имели у себя из бунтовщиков одного главного уговорщика и предводителя, который объявлял о себе, что он от пули заговорит не только себя, но всех товарищей, которые с ним городской команде противиться будут. Товарищи его, с великою надеждою на своего предводителя и заговорщика пулю уповая, выступили с женами и детьми своими против городской команды на драку; городская команда по малости своего числа, видя против себя великое множество собравшегося со всяким оружием народа, захватила для себя удобное место в деревне, дабы кругом не быть обхваченной от бунтовщиков, кои неустрашимо шли прямо на посыльных, и перед ними предводитель и заговорщик ружья, человек молодой, роста великого и стройного; приближаясь, бунтовщики пустили из рук своих камень и поленья как град и повторили раз за разом с великим криком и бранью, которым швыряньем они многих городских поранили. Между тем и городские посыльные, защищая себя, из своих ружей сделали несколько выстрелов без ошибки по толпе бунтующих, а одному удалось так небрежно выстрелить из ружья по самом предводителе и заговорщике пулю, что он не успел своих заговорных слов выговорить и пал на землю мертв. Увидя бунтовщики предводителя своего мертва, дрогнули все и зачали спасать себя бегством, куда кто мог скрыться; городские, видя такое смятение, не упустили сего случая и начали ловить бегущих и столько нахватили их, сколько им можно было взять с собою. Крестьяне были все молодые и здоровые, по платью и по рубахам не походили они на степных крестьян, а на гулящих самых бурлаков; при допросе они отвечали с зверским видом".

Татарского плена не испытывал никто из дворян второго поколения, но от разбойников они страдали так же, как и предки. Первое, что мог передать из своей жизни один дворянин третьего поколения, было следующее происшествие с его отцом и матерью: "В 1722 году случилось отцу моему ехать от свойственников своих с моею матерью, при коей и я находился в младенчестве у грудей; проехав город Венёв, стали подъезжать к реке Осетру, расстоянием от дому своего не более пяти верст; время тогда было зимнее, а день приклонялся к сумеркам; набежали на них несколько саней, в коих человек десять или более было разбойников. Отец мой, сидя на облуку у той кибитки, в которой мать моя со мною сидела, а человек правил (как я от отца моего оное приключение слышал), вооружен был только одним палашом; узнав он из той воровской шайки одного мужика из деревни Соколовки, одного к церкви прихода, сказал ему, что по соседству нехорошо так поступать и что он знает их. Оное слово не умягчило сих бездельников, а может быть и пьяных; они закричали воровским обыкновением: "Атаман, потчивай, он знает нас". После сего слова кинулись разбойники с дубьем на отца моего и начали бить; отец мой против толикого числа разбойников недолго оборонялся, отбежал, обороняясь, от дороги несколько сажень, где они сбили его с ног на землю и били столь бесчеловечно, что чуть жива оставили, и, накинув петлю на шею ему, потащили и бросили в сани; потом, своротя с дороги в сторону,

привезли к реке Осетру и при многом обыкновенном от разбойников стращанье и угрозах то резать, то топить в воде хотели, ограбя всех дочиста, объявляя притом, что они о младенце (т. е. обо мне) сожаление имеют, дабы не ознобили, дали несколько самого худейшего одеяния и одну без узды лошадь, сами ускакали возвратно. Слуга, который был при нас, взяв лошадь за гриву, повел ее за собою, повезли отца моего, едва жива, в санях положенного, а мать моя и при ней престарелая девка шли пешком, несли меня на руках попеременно. Отец мой чрез немалое время хотя и пришел, казалось, в прежнее свое здоровье, однако календарь оный, данный ему от разбойников, очень верен был, всегда чувствовал он к переменной в воздухе погоде превеликую боль во всем своем теле". Разбойники навестили и знаменитую вдову-помещицу, которая была такая охотница до щей с бараниною: "Пришли к ней ночью разбойники, вломились в хоромы, убили у ней любимую постельную собачку, а ей выбили передние все зубы ружейным прикладом; забрав пожитки и несколько бочонков с вином и водкою, ушли из деревни вскоре. За разбойниками учинена была собранная от соседей погоня, тогда разбойники покидали за собою на дороге по одному бочонку с вином для питья погонщикам; погонщики выпивали вино для смелости за разбойниками гнаться. Сим вымыслом разбойники погоню за собою остановили и скрылись восвояси".

Теперь обратимся к третьему поколению, которого воспитание относится к описываемому времени. Мы видели старания правительства поддержать требование Петра Великого относительно образования дворян. В указах мы видели требования; теперь увидим, как эти требования удовлетворялись и как само правительство учило тех дворянских детей, которые попадались в его школы. "От роду моего лет семи или более, - говорит дворянин, оставивший нам свои воспоминания, - отдали меня в том же селе, где отец мой жил, пономарю Филиппу, прозванием Брудастому, учиться. Учитель наш жил только один с своею женою весьма в малой избушке; приходил я учиться к Брудастому очень рано, в начале дня, и без молитвы дверей отворить, покуда мне не скажет "аминь", не смел. Памятно мне мое учение у Брудастого и поднесь по той, может быть, причине, что часто меня секли лозою: я не могу признаться по справедливости, чтоб во мне была тогда леность или упрямство, а учился я по моим летам прилежно, и учитель мой задавал мне урок учить весьма умеренный, по моей силе, который я затверживал скоро, но как нам, кроме обеда, никуда от Брудастого отпуска ни на малейшее время не было, а сидели на скамейках бессходно и в большие летние дни великое мученье претерпевали, то я от такого всегдашнего сидения так ослабевал, что голова моя делалась беспамятна и все, что выучил прежде наизусть, при слушании урока, к вечеру и половины прочитав не мог, за что последняя резолюция - меня, как непонятого, сечь. Брудастого жена во время нашего учения понуждала нас в небытность своего мужа всечасно, чтоб мы громче кричали, хотя б и не то, что учим". Таково было образование, которое могли дворянские дети получить дома на собственные средства. Теперь послушаем, как шло

учение в правительственных школах. Автор воспоминаний был записан в Московскую артиллерийскую школу: "Оная школа была еще учреждена внове на полковом артиллерийском дворе, и было в оную прислано из герольдии дворянских детей, бедных и знатных, по желанию семьсот человек, а как в новой школе не было ни порядка, ни учреждения, ни смотрения, то через четыре года разошлось оное большое собрание без позволения школьного начальства по разным местам в настоящую службу, куда кто хотел записались, а осталась только некоторая часть дворянских детей, кои прилежали охотно и хотели учиться. Но великий тогда недостаток в оной школе состоял в учителях. С начала вступления учеников было для показания одной арифметики из пушкарских детей два подмастерья; потом определили по пословице волка овец пасти штык-юнкера Алабушева. Алабушев тогда содержался в смертном убийстве третий раз под арестом; был человек, хотя несколько знающий, разбирал Магницкого печатный арифметик и часть геометрических фигур показывал ученикам, почему и выдавал себя в тогдашнее время ученым человеком, однако был вздорный, пьяный, редкий день приходил в школу непьяный. Напоследок для поправления в школе порядка еще определен был сверх штык-юнкера Алабушева капитан Гринков: человек был как прилежный, так и копотливый и был великий заика, однако завел в школе порядок получше Алабушева. Он вперял в учеников охоту учиться с обещанием чести и довел до того, что его старанием несколько человек из учеников пожалованы были в артиллерию сержантами и унтер-офицерами. Ученики были все помещены в четырех великих светлицах, стоящих через сени, по две на стороне; когда позволялось покинуть учење и идти обедать или по домам, тогда, бывало, учинят великий и безобразный во все голоса крик наподобие "ура", протяжно "шебаш". В один день мне случилось идти за Москвою-рекою, усмотрел я в одном доме на окошке поставленный каменный попугай, раскрашенный изрядно; я, любопытствуя, остановясь против того окна, глядел на попугая пристально; в тот же самый час барыня дородная и хорошего лица, подошед к окну, спросила меня, что я за человек. А как узнала от меня, что я артиллерийский ученик и притом дворянин, то просила меня учтивым образом, чтоб я вошел к ней в хоромы. Призвала она своего сына, который тогда был на голубятне, гонял тонким шестом вверх голубей; мать его просила меня, чтоб я спросил сына ее, что он учит и хорошо ль знает арифметику. Я, узнав от него по свидетельству, сказал ей, что он очень мало знает. Она, услыша от меня сие, прибавила своего ко мне учтивства и ласковости, просила меня: не могу ль я ей сделать одолжение, перейти к ней жить и показывать, когда свободно будет, сыну ее арифметику. Я рассудил, что приличнее мне компанию делать дворянской жене и ее сыну, Вишняковым, нежели свойственника своего управителю, у коего я был оставлен на удовольствии. Живши несколько времени у Вишняковой, выучил сына ее арифметике. Сестра родная Вишнякова была в замужестве за Секериным, который записан был в нашей же школе учеником; прилежно просила она меня перейти жить к ней, дабы вместе ездить с мужем ее в школу. Я за полезное принял от нее

сие предложение, перешел к Секериной; намерение ее было, чтоб и муж ее, так же как и племянник, от меня несколько занял учение, но не удалось ей сего произвести по ее желанию в действо, ибо муж ее, Секерин, великий был шалун, ничего учить не хотел, переписался из школы в армейские полки и тем отбыл от учения".

Но мы видели, что в новой столице, под глазами двора, под наблюдением энергичного Миниха было учреждено училище для шляхетских детей, так называемый Кадетский корпус. Первоначально училище было устроено на 200 воспитанников, 150 русских и 50 остзейцев, но в 1732 году Миних докладывал, что желающих записалось в корпус 237 человек русских, 32 лифляндца и 39 эстляндцев, почему просил составить корпус из трех рот, по 120 кадет в каждой, и к прежде назначенной сумме 33896 рублей прибавить еще 26508 рублей в год да вместо деревни от 30 до 50 дворов назначить деревню от 80 до 100 дворов. Императрица согласилась. В 1737 году "для содержания лучшего порядка и побуждения кадетского к наукам, чтоб сия от нас учрежденная Академия надлежащий государству плод принесла, заблагорассудили определить, чтоб быть в каждом году двум публичным смотрам в присутствии одного из сенаторов, профессоров Академии Наук, учителей Адмиралтейской академии и Инженерной школы". Смотры эти и экзамены производились всем кадетам без исключения, во-первых, для страха всем кадетам и для побуждения к прилежнейшему учению; во-вторых, чтоб усмотреть, которые к наукам способны и которые нет, и не напрасно деньги на них тратить. Узнав, что кадеты больше всего и почти каждый день обучаются воинской экзерциции, правительство в 1737 году дало корпусу указ, что так как от этих частых экзерциции происходит препятствие в обучении прочим наукам, то вперед обучать кадет воинской экзерциции только по одному дню в неделю. По рапорту, поданному Минихом в 1733 году, видно, что обязательными для всех кадет были только три предмета: закон божий, военные экзерциции и арифметика; остальным же наукам и языкам учился кто хотел; так, из 245 русских кадет только 18 учились русскому языку, французскому - 51, латинскому - 15, зато немецкому - 237! Из наук геометрии училось 36 человек, несмотря на то что Петр Великий ввел эту науку в необходимый курс для дворянина; географии училось 17, истории - 28, юриспруденции - 11; из искусств преобладали танцы: им училось 110 человек, тогда как музыке - 39 и рисованию - 34, но любопытно, что верховой езде училось только 20 и фехтованию - 47 человек. Если из русских такая большая часть считала для себя нужным немецкий язык, то немцы платили тем же относительно русского: лифляндцы (27 человек) занимались все русским языком; из 42 эстляндцев занимались 24, из детей иностранных офицеров - все 14 человек. До нас дошли от 1739 года аттестаты кадет, поступивших в корпус с начала его основания, в 1732 году, и достигших 19, 20 и 21 года. Здесь замечательно различие в объеме предметов, которые усвоили себе молодые люди ровесники, вступившие в одно время в корпус и в одно время из него выходившие. Так, у одного из французского языка отмечено: переводит с немецкого на французский

екстемпоре - исправно; у другого - учит вокабулы и разговор; у одного в истории отмечено: знает русскую и польскую историю; у другого - в универсальной дошел до новой истории или дошел до короля Магнуса; из географии у одного: в математической географии начало доброе имеет; у другого - окончил пять карт европейских специальных: португальскую, гишпанскую, французскую, британскую и итальянскую. Были и такие, которые, имея в виду поступить в гражданскую службу, занимались латинским языком, философией и юриспруденцией. В аттестате одного из таких отмечено: с немецкого на латинский компонует екстемпоре; в графе: философия, юс натуры, институционес юстинианес, пандектум и юс феудале - отмечено: в философии Гейнеции элемента, юс секундум ординем пандекторум до 41 книги дошел.

Несмотря на то что, как видно, кадет не очень обременяли занятиями, через год, в 1733, бежало из корпуса пять человек, все русские; по представлению Миниха, положены были наказания: за первый побег отсылать для учения с солдатскими детьми в гарнизонную школу на полгода, а за второй - в ту же школу на три года. В 1739 и 1740 годах кадеты начали попадаться в воровстве: виновных били кошками публично в зале корпуса и писали в барабанщики, с тем чтоб выше рядового солдата никогда не производить.

Кроме воспитанников Кадетского корпуса в гражданскую службу приготавливались молодые дворяне при самих правительственных и судебных учреждениях: в Сенате - по 12, в Синоде и Сенатской канцелярии - по 6, в Иностранной коллегии - по 12, в Военной, Вотчинной, Юстиц - и Коммерц-, Камер-, Ревизион-коллегиях и в Штатс-канцелярии - по 6, в Генерал-берг-директориуме, Монетной канцелярии и Судном приказе - по 4, в Канцелярии конфискации - по 2. Они отправляли должность копиистов, но при этом секретари обучали их приказному порядку и знанию указов, а два дня в неделю обучались они арифметике, геометрии, геодезии, географии и грамматике. Любопытно, что в сенатском указе приказным служителям запрещено было озлоблять этих молодых дворян каким-нибудь невежеством и ругательными словами. Самим дворянам указ предписывал оказывать свою природу добрыми поступками, честным обхождением и учтивостью, запрещал им ходить в вольные и непристойные дома, пьянствовать, играть в карты и кости; предписывал содержать себя чисто в платье и белье и всякий день пудрить волосы, чтоб не бесчестно было являться пред честными людьми, тем более что им позволено было в праздники наравне с кадетами являться ко двору.

Мы видели, что первую причину, почему Кадетский корпус учреждался в Петербурге, было выставлено то, что в этом городе находилась Академия Наук. С основания этого учено-учебного учреждения прошло уже 15 лет, и потому мы имеем возможность бросить взгляд на первоначальную его деятельность. На первый раз было приглашено из-за границы несколько замечательных ученых - Герман, двое Бернуллы, Бильфингер,

Беккенштейн, но они недолго оставались в Петербурге, потому что нашли себя здесь в зависимости от человека, которого не могли уважать ни за ученые заслуги, ни за нравственные достоинства, наконец, ни за высокое положение или происхождение: то был Иоган Даниил Шумахер, родом из Эльзаса, принужденный оставить Страсбургский университет за какие-то вольные стихи. В 1714 году он является в Россию, где поступил в службу секретарем по иностранной переписке к лейб-медику Петра Великого Арескину, заведовавшему всею врачебною частью в России; Арескин заведовал также библиотекою, собранною Петром, и кабинетом редкостей; Шумахер был определен библиотекарем и хранителем кабинета. Здесь уже Шумахер показал свою ловкость, умение служить людям прежде, чем делу, заискивать, заявлять себя, приобретать связи, делать себя необходимым для начальства; он заботился о попугае Арескина, и когда приехал из-за границы переплетчик, то Шумахер прежде велел ему переплести великолепно собственные книги Арескина, а потом уже приняться за казенные книги в библиотеке. Шумахер умел удержать свое место и значение и при Лаврентии Блюментросте, преемнике Арескина, умершего в 1718 году. Явилась мысль об основании Академии, которой первоначальный проект был написан, как говорят, сообща Блюментростом и Шумахером, и последний в 1721 году отправляется за границу "с учеными корреспонденции произвести для умножения художеств и наук, а наипаче для сочинения социетета наук, подобно как в Париже, Лондоне, Берлине и прочих местах". Шумахер был обязан осматривать все библиотеки и музеи, приглашать в русскую службу ученых и мастеровых, приобретать физические инструменты, анатомические препараты, модели, рисунки машин и проч. Через год Шумахер возвратился в Петербург и продолжал от имени Блюментроста вести переписку о вызове академиков из-за границы.

Наконец ученые приехали, заседания Академии открылись; президентом был Блюментрост, но у Блюментроста самым близким, своим, доверенным человеком был Шумахер. "Ему, - говорит Ломоносов, - президент отдал под смотрение и денежную казну, определенную на Академию. Посему выдача жалованья профессорам стала зависеть от Шумахера, и все, что им надобно, принуждены были просить от него же. Сверх сего, Шумахер, будучи в науках скуден и оставив вовсе упражнение в оных, старался единственно искать себе большой доверенности у Блюментроста и других при дворе частными услугами. На что уже и надеясь, поступал с профессорами не таким образом, как бы должно было ему оказывать себя перед людьми толь учеными и в рассуждении наук великими, отчего скоро воспоследовали неудовольствия и жалобы".

Неудовольствия и жалобы особенно усилились, когда в начале 1728 года Блюментрост отправился за двором в Москву и поручил все академические дела библиотекарю Шумахеру. Понятно, что академикам было тяжело находиться в распоряжении библиотекаря; они не могли скрывать свое неудовольствие на такой порядок вещей, свое нерасположение и

неуважение к человеку, который не имел никакого права управлять Академиею, кроме умения заискивать расположение сильных, кроме умения избавлять президента от черной работы по управлению, и чрез то сделал себя для него необходимым. Шумахер, видя враждебность академиков, разумеется, платил им тою же монетою и в письмах к президенту старался выставить их характеры и поведение в дурном и смешном свете; Блюментрост верил Шумахеру, потому что он к Шумахеру привык, Шумахер был ему необходим; самолюбие президента сильно раздражалось, потому что, оказывая неуважение к Шумахеру, академики оказывали неуважение самому Блюментросту, который поручил все дела Шумахеру; последнему было легко раздражить начальническое самолюбие Блюментроста, выставивши академиков людьми беспокойными, которые однажды решились, мимо президента, обратиться прямо в Верховный тайный совет с жалобой, что им не выплачивается жалованье, причем Бильфингер, самый беспокойный из академиков, имел дерзость послать своего лакея к Шумахеру с приглашением в залу конференции. Этот самый Бильфингер с некоторыми другими товарищами, неизвестно почему, не явился на обед к Миниху; Шумахер дал знать и об этой дерзости Блюментросту. Внушения Шумахера, что на беспокойных людей должна быть гроза, сильная власть, действовали: Блюментрост облекал этою властью Шумахера; трое академиков подали президенту жалобу на *библиотекаря*, который сделался правителем Академии, поступает высокомерно и самовольно. Эта просьба только еще более раздражила Блюментроста против беспокойных людей; в ответе он старался натянуть, что Шумахер пользуется важным значением законно, что он секретарь и библиотекарь его императорского величества и, следовательно, имеет право сообщать повеления его величества и наблюдать за их исполнением, но тут же вырвалось и настоящее дело, настоящий источник власти Шумахера. "Позвольте сказать вам, - писал Блюментрост Бильфингеру, - что в мое отсутствие я могу поручать кому хочу заведование академическими делами". Шумахер постоянно требовал грозы на беспокойных академиков, просил президента не стесняться, приводить их в надлежащий порядок и достиг своей цели; он был прозван, по свидетельству Ломоносова, "бичом на профессоров" (*flagellum professorum*). Убегая этого бича, академики при первой возможности начали уезжать из России, "затем, - говорит Ломоносов, - что приобыкли быть всегда при науках и, не навывкнув разносить по знатным домам поклонов, не могли сыскать себе защищения". Уехали Герман, Бильфингер, Бернулли. Блюментроста сменили на президентском месте в Академии Кейзерлинг, Корф, Бреверн - и при всех этих сменах, последовавших в непродолжительное царствование Анны, несменяемым был один Шумахер, для всех президентов он был одинаково необходим. Слишком беспокойных академиков он умел выживать из России; другие (как астроном Делиль) благодаря ему не ходили в академические заседания. Кроме того, что академики, занимаясь наукою, не имели ни привычки, ни досуга разносить по знатным домам поклоны, - кроме этого Шумахер пользовался также

несогласиями, возникавшими между ними и доходившими иногда до драки в конференции: так, профессор Юнкер ударил профессора Вейтбрехта палкою и расшиб зеркало. Виноватым был признан Вейтбрехт, "потому что, - говорит Ломоносов, - он умел хорошо по-латыне; напротив того. Юнкер едва разумел латинских авторов, однако мастер был писать стихов немецких, чем себе и честь зажил, и знакомство у фельдмаршала графа Миниха".

Ломоносов упрекает Шумахера и за то, что Академия в начале своего существования не достигала второй своей цели - учебной, столь важной для тогдашней России: "Взяты были из московских заиконоспасских школ двенадцать человек школьников в Академию Наук; оных половина взяты с профессорами в Камчатскую экспедицию, из коих один удался Крашенинников, а прочие от худого присмотра все испортились. Оставшаяся в Санкт-Петербурге половина, быв несколько времени без призрения и учения, распределена в подьячие и к ремесленным делам. Между тем с 1733 года по 1738 никаких лекций в Академии не преподавано российскому юношеству". В 1735 году вытребованы вновь 12 человек школьников и студентов в Академию из московских спасских школ; из них Ломоносов и Виноградов отправлены в Германию для обучения естественным наукам. "По отъезде помянутых студентов за море прочие десять человек оставлены без призрения. Готовый стол и квартира пресеклись, и бедные скитались немалое время в подлости. Наконец, нужда заставила их просить о своей бедности в Сенате на Шумахера, который был туда призван к ответу, и учинен ему чувствительный выговор с угрозами штрафа. Откуда, возвратись в канцелярию, главных на себя просителей-студентов бил по щекам и высек батогами. Однако ж принужден был профессорам и учителям приказать, чтобы давали помянутым студентам наставления, что несколько времени продолжалось, и по экзамене даны им добрые аттестаты для показу. А произведены лучшие в переводчики, а прочие ж распределены по другим местам, и лекции почти совсем прекратились".

Но мы видели, что, по свидетельству того же Ломоносова, академики не могли восторжествовать над Шумахером именно потому, что привыкли быть всегда при науках, и потому мы должны обратиться к следствиям этой привычки, обозреть ученую деятельность первых членов Академии, причем, разумеется, должны долее остановиться на тех, которые занимались изучением России, ее настоящего и прошедшего.

В реестре служащих при Академии и занятий их на 1737 год находим, что "профессор и советник юстицкий *Гольдбах* сочинял всякие до академической корреспонденции с чужестранными учеными людьми касающиеся письма на латинском, немецком и французском языке; он же сам издает математические и другие до наук касающиеся письма *Делиль*, первый профессор астрономии, имеет в своем правлении обсерваторию, днем и ночью трудится в астрономических обсервациях и над генеральною

картою Российского государства, а ныне старается, чтоб свой поданный прожект о измерении земли и поправлении карт Российской империи в действо произвести. *Винигейм*, второй профессор астрономии, проверяет на счете все из чужих краев присылаемые сюда астрономические обсервации и делает потребные при обсерватории таблицы; сочиняет с. - петербургские календари, пишет политическую географию и капитул Российского государства. *Гензиус*, третий профессор астрономии, в обсерватории те же обсервации, которые и г. Делиль делает, и один другому взаимно помогает, а когда первый в ночи, то другой днем астрономические обсервации отправляет для того, что одному человеку сего дела исправить невозможно, и ныне пишет краткое собрание астрономических наук. *Дувернуа*, профессор анатомии, делает анатомию над человеческими телами и зверьми, рассматривает их составы и тела; ныне пишет историю о слоне, морже и ките. *Крафт*, профессор физики и экспериментальной теоретики, рассматривает натуру размышлениями и частыми экспериментами и делает на всякий день метеорологические обсервации, вписывает в книгу. *Эйлер*, профессор вышней математики, сочиняет высокие и остроумные математические вещи, которые по прочтении в конференции издаются в печать. *Вейбрехт*, профессор физиологии, так же как и анатомик, разнимает человеческие и звериные тела, все их части смотрит и старается как бы употребление их сыскать. *Аммон*, профессор ботаники и истории, рассматривает и описует все, что в трех частях природы случается, а именно: зверей, травы, камни, минералы и все ост-индские и вест-индские семена, а которые из Сибири, Астрахани и Казани присылаются, те садит, а травам делает описание и рисунки; ныне сочиняет книгу о 200 разных травах, которые в Сибири, Астрахани и около тех мест растут, и сия книга началом травной истории всея Российские империи будет. *Гросс*, профессор истории, исправляет историю средних и новейших времен, переводит с французского на немецкий и с немецкого на французский язык, а особливо всякие до Российской истории касающиеся письма на французский язык переводит. *Байер*, профессор антиквитетов (древних вещей), его должность в том состоит, чтоб греческие, римские, а особливо ориентальные древние вещи и языки исправлять; трудится над историею его величества блаженные памяти царя Алексея Михайловича, и по окончании оные истории прочих государей, царей и великих князей российских равным образом сочинять будет; начатый китайский лексикон будет продолжать".

Сочинять историю царя Алексея Михайловича и прочих государей Байеру было трудно по той простой причине, что он не знал по-русски; он мог легко заниматься теми только вопросами, которые решались с помощью иностранных источников, например вопросом о скифах. Имя Байера получило в нашей науке громкую известность, благодаря тому что он первый научным образом коснулся вопроса о происхождении варягов-руси, именно стал доказывать их скандинавское происхождение. Известно, к какой долгой и ожесточенной борьбе подавал повод этот вопрос в нашей ученой литературе; те, которые принимали мнение о скандинавском происхождении варягов-руси, отправлялись в своих исследованиях от

выводов Байера, который, таким образом, для них и для противников их получил важное значение главы школы. Но как скоро вопрос о происхождении варягов-руси потерял свое значение, то имя Байера стало упоминаться очень редко, и деятельность этого академика исчезает перед продолжительною, постоянною и разнообразною деятельностью другого иностранца, приглашенного в Петербургскую академию на первых ее порах, перед деятельностью Герарда Фридриха Мюллера, заслужившего более популярное название Федора Ивановича Миллера. Лейпцигский студент Миллер, рекомендованный тамошним профессором Менке, приехал в 1725 году в Петербург и, несмотря на то что ему было только 20 лет, определен был адъюнктом исторического и географического класса при Академии. Но в этой Академии, носившей тройственный характер, специализирование занятий было невозможно, и молодой Миллер первые два года обучает студентов латинскому языку; в звании вице-секретаря Академии издает "Академические комментарии", издает извлечение из них под именем "Краткого описания комментариев", издает "С. - Петербургские ведомости" и примечания на них; понадобился латинский лексикон - Миллер издает Вейсманов немецко-латинский лексикон с русским переводом и с присоединением "начальных правил русского языка".

Ломоносов, сильно враждовавший впоследствии с Миллером, говорит: "Шумахер для укрепления себе присвоенной власти приласкал на помощь студента Миллера и в начатой без всякого формального учреждения и указа канцелярии посадил его с собою, ибо усмотрел, что онный Миллер, как еще молодой студент и недалеко в науках надежды, примется охотно за одно с ним ремесло в надежде скорейшего получения чести, в чем Шумахер и не обманулся, ибо сей студент, ходя по профессорам, переносил друг про друга оскорбительные вести и тем привел их в немалые ссоры, которым их несогласием Шумахер весьма пользовался, представляя их у президента смешными и неугомонными". Упомянув об оставлении Академии учеными, не хотевшими находиться под начальством Шумахера, Ломоносов продолжает: "Но чтобы Академия не пуста осталась или, лучше, дабы Шумахер имел под рукою своею молодых профессоров, себе послушных, представил в кандидаты на профессорство пять человек, Ейлера, Гмелина, Вейтбрехта, Крафта и фаворита своего Миллера, чтоб старые отъезжающие профессеры их на свое место аттестовали. О четырех первых отнюдь не обинулись дать свои одобрения, а Миллеру в том отказали; однако в рассуждении сего мнение их не уважено затем, что Шумахеровым представлением Миллер был от Блюментроста произведен с прочими в профессеры".

Как бы то ни было, Миллер, получив звание профессора истории, начинает усердно заниматься своим предметом; еще недостаточно зная по-русски, собирает материалы для сочинения полной русской истории и географического описания России, переводит эти материалы на немецкий язык и для распространения за границу верных сведений о русской

истории и географии предпринимает с 1732 года издание сборника статей, относящихся к русской истории (Sammlung russischer Geschichte). Для нас любопытно узнать, как начинает Миллер сам знакомиться с русской историей и знакомить с нею иностранных ученых. Он начинает как следует, с начала, с начальной летописи: первая статья в сборнике - это известие о древней рукописи, содержащей русскую историю игумена Феодосия киевского. Слова "игумена Феодосия киевского" нас поражают: мы не знаем такого летописца. Но мы не должны забывать, что имеем дело с трудом молодого иностранца, только что начавшего заниматься древними рукописями, неопытного в их языке. В заглавии рукописи "Повесть временных лет черноризца Феодосьева монастыря Печерского" Миллер прилагательную форму Феодосьева принял за существительную, и явился у него игумен Феодосий, летописец. Миллер не понял и Сильвестровой приписки; слова: "А мне игуменящу" - приписал своему летописцу Феодосию, которого сделал преемником Сильвестра на игуменстве в монастыре Св. Михаила. Не забудем также, что Миллер при первом занятии своим летописями не мог иметь никакого руководителя, ибо Татищев привез в Петербург свою историю только в 1739 году; Миллер в 1732 году не мог подозревать, что его Abt Theodosius есть тот же Нестор, за которым после он сам утверждал начальную летопись. В своем "Известии" Миллер сделал обзор первых страниц летописи до времен Рюрика, причем, разумеется, не мог не коснуться вопроса о происхождении варягов: варяги, по его мнению, суть *морские люди, мореплаватели*, ибо слово *Varech* означает то, что выбрасывается морем. За "Известием" следуют извлечения из летописи с 860 до 1175 года включительно. Но источники древнейшей русской истории не ограничиваются одними русскими летописями; известия о столкновении руссов с греками находятся у византийских писателей, и Миллер в особых статьях сообщает эти известия. О России упоминается также в северных источниках: Миллер составил извлечение из "Истории норвежских королей" Снорро Стурлезона. Наконец, Миллеру хотелось познакомить иностранных читателей с одним из знаменитых русских исторических лиц несколько позднейшего времени, и он избрал Александра Невского, которого подвиги могли возбудить большой интерес по отношению их к Швеции, Ливонскому ордену, папе и которого имя связано было с Петербургом и стало еще более известно на Западе вследствие установления ордена в честь его. Жизнеописание св. Александра составлено Миллером по двум, тогда не изданным, источникам (Степенной книге и Сказанию, помещаемому обыкновенно в летописях); кроме того, автор пользовался лифляндскою хроникою Руссова, собранием папских посланий, известиями о татарах разных авторов.

Кроме статей по русской истории в "Сборнике" видим статьи об отношениях России к Востоку, статьи по истории и географии прилегавших к России с востока стран. Причину такого выбора объяснить нетрудно: уже при чтении иностранных путешественников по России XVI и XVII веков легко заметить, что преимущественно их занимает Восток, Азия, занимает их особенно эта Сибирь, откуда Россия доставала главный

драгоценный товар свой - меха, чрез которую шел путь к заповедным границам китайским; открытие удобных путей на Восток, в Китай, Индию сильно занимало умы на западе Европы в XVI, XVII и XVIII веках; понятно, что взоры всех обращались на Россию как на страну, посредствующую между Европою и Азиею. Миллер хорошо знал это и потому предлагал своим западным читателям преимущественно статьи о Востоке, о сношениях России с Востоком. Он поместил в своем "Сборнике" церемониал приема китайского посольства при русском дворе, в Москве и Петербурге, в 1731 и 1732 годах; новейшую историю восточных калмыков Унковского; извлечение из путевого журнала в Калмыцкую страну того же Унковского; мирный договор России с Персиею 21 января 1732 года с примечаниями на вторую статью, в которых Миллер предложил описание стран, упоминаемых в договоре; известие о редком сочинении голландца Витзена "Северная и Восточная Татария", к которому Миллер составил ключ; о городе Албазине и бывших за него войнах между русскими и китайцами - статью, составленную по Витзену; мирные переговоры между Россиею и Китаем в 1689 году и проч.

При чтении Витзена и Унковского Миллеру пришла мысль написать подробную историю калмыков, тем более что он имел случай получить много известий от членов калмыцких посольств, с которыми он часто разговаривал посредством переводчика Смирнова. Миллер уже составил план своего сочинения и предложил его в "Сборнике".

Но исполнению этого предприятия помешала поездка Миллера в Сибирь. В 1733 году назначена была от Академии ученая экспедиция, известная под именем Камчатской, и Миллер был избран в число ее членов. После сам Миллер таким образом объяснял причины этой командировки своей: "Я так давно близко знаю г. Шумахера: он никогда не прощает, если сочтет себя оскорбленным. Его ненависть против меня началась с 1732 года, когда Сенат прислал указ профессорам рассмотреть академические штаты, составленные г. Шумахером. Я тогда думал, что долг мой требует присоединиться при этом рассмотрении к прочим профессорам, моим товарищам, и так как в проекте штатов нашлось много заслуживающего порицания, то и не колебался высказать мое истинное мнение, к чему меня обязывала и присяга верноподданного империи. Это привело г. Шумахера в негодование против меня. Для избежания его преследований я вынужден был отправиться в путешествие по Сибири, чему он один благоприятствовал, лишь бы удалить меня от тех, которые пользовались тогда моим пером".

Как бы то ни было, наука выиграла от этого бегства Миллера в Сибирь от преследований Шумахера. В течение десяти лет Миллер обозрел страну от Чердыни до Якутска и границ китайских, причем вел подробные путевые записки, собрал о городах и уездах их исторические, географические и статистические сведения; пересмотрел и привел в порядок архивы почти во всех важнейших городах, особенно в Чердыни, старом главном городе

Перми, везде списывал замечательнейшие акты. Из этих списков составилось 50 фолиантов. Но мы обзрели только еще начало деятельности Миллера.

До сих пор мы видели труды только иностранных ученых, призванных в Петербургскую академию наук, но вот в приведенном выше реестре встречаем и русские имена: "*Адодуров*, адъюнкт профессора физики; его главное намерение - физику доканчивать, дабы со временем самому профессорского чина удостоиться; перевел сокращенную механику на русский язык, а ныне переводит математику, сочиненную профессором Эйлером; свои труды читает в Российском собрании и притом слушает всяких переводов, которые другие читают, и старается, чтоб оные переводы на русском языке исправно в печать выходили: обретающихся при прав. Сенате юнкеров обучает по дважды в неделю в чтении и писании русского диалекта".

Таким образом, адъюнкт по кафедре физики читал свои переводы в Российском собрании и поправлял чужие переводы, но что же это было за Российское собрание? Так называлась особая конференция при Академии, имевшая задачу обработку русского языка и слога. Мы видели, что когда Петр Великий, желая передать научные сведения русским людям на их языке, заказал переводы разных книг с иностранных языков и необходимые для этого лексиконы, то ему представился вопрос: на какой язык переводить? Языком религии и неразрывно связанного с нею знания был до сих пор язык так называемый церковнославянский. Это был язык священный, возвышенный, единственно достойный важного предмета; человек знающий, ученый, т. е. начетчик священных книг, мог писать только на этом языке или по крайней мере старался писать на нем, приближать свою речь как можно более к нему; этим он отличался от невежественной толпы. Но подле этого священного и ученого языка в устах народа образовался живой разговорный язык, который сделался и письменным языком, ибо на нем составлялись правительственные акты и деловые бумаги. Петр потребовал, чтоб переводы делались и лексиконы составлялись именно на этом живом народном языке, который называли языком Посольского приказа. Но исполнить желание преобразователя было очень трудно: переводчик книги, составитель лексиконов был человек ученый, следовательно, тянувший к церковнославянскому языку, считавший странным, неприличным писать на языке подлом, т. е. следовать живой народной речи. А тут новая беда: еще до Петра являются в Москву ученые Южной и Западной России с своими наречиями, искаженными влиянием польского элемента; при Петре эти лица заняли архиерейские кафедры, и удивительный язык их витиеватых *казаний* дорого обошелся русскому уху; влияние живых западных языков было сильно, особенно со стороны лексикологической. Хаос усиливался, но не умирало и стремление выйти из него, не умирало то чувство, которое заставляло русского человека оскорбляться печальным состоянием родного языка, выражения своей народности. Требование

очищения русского языка пошло от людей, отличавшихся наиболеею преданностью делу преобразования: Татищев, например, не мог выносить обилия иностранных слов, вошедших в русский язык; он никак не хотел называть нового горного города Екатеринбургом, но всегда подписывал на своих письмах и донесениях: "из Екатерининска". В 1728 году Верховный тайный совет предписал, чтоб "российские при других дворах министры в своих реляциях не включали терминов иностранных, кроме только самых необходимых". Все русские люди, считавшие просвещение необходимым, должны были страшно тяготиться неустройством родного языка, видя, как то, что так легко выразить на чужом языке, с таким трудом передается на русском. А передавать было необходимо. Несмотря на важное значение, приобретенное немцами в царствование Анны, немецкий язык не мог сделаться употребительным даже и при дворе по той простой причине, что огромное большинство русских знатных и деловых людей не знало по-немецки; все официальные бумаги, донесения императрице в Кабинет должны были писаться по-русски, поэтому немцы, которые хотели утвердиться в России, должны были стараться овладеть русским языком, выражаться и писать на нем как можно свободнее, чему пример показал самый даровитый из иностранцев - Остерман. Понятно, что Академия должна была отозваться на требование устройства русского языка, тем более что это требование шло сверху. Мы видели, что учреждена была особая конференция под именем Российского собрания, но кто же был главным деятелем здесь? Как видно, большим знатоком русского языка считался адъюнкт по кафедре физики Адодуров, но у этого Адодурова живет какой-то русский ученый, возвратившийся из-за границы; его зовут Василий Кириллович Тредиаковский.

Когда раздался громкий призыв русским людям к новой, усиленной наукою жизни, в свежем и сильном народе послышались с разных сторон отзывы: один крестьянский сын с берегов Белого моря оставляет отцовский дом и бежит в Москву учиться в спасских школах; другой, священнический сын, с устьев Волги, из Астрахани, также покидает отцовский дом и бежит туда же в Москву учиться в спасских школах. Различная степень таланта, различные характеры, различный закал характеров вследствие различных условий времени и других, но стремление и форма начального подвига одинаковы.

Сын астраханского священника, выучившийся по-латыни у католических монахов, Тредиаковский оставил родной город, дом и отца с матерью, убежал в Москву, где стал учиться в Заиконоспасском монастыре. По окончании реторики нашел способ уехать в Голландию, где выучился французскому языку. Оттуда пешком вследствие крайней бедности пришел в Париж, где в Сорбоне учился математическим, философским и богословским наукам "при щедром благодетелей содержания". Из этих благодетелей нам известен только князь Александр Борисович Куракин, который и привез Тредиаковского из-за границы в Петербург. В 1730 году Академия издала труд Тредиаковского "Езда в остров Любви. Переведена с

французского на русской чрез студента Василия Тредиаковского и приписана его сиятельству князю Александру Борисовичу Куракину" (Voyage a l'ile d'Amour, par Paul Tallemant). В предисловии впервые писателем высказано требование писать книги светского содержания разговорным языком, а не славянским; мы видели, что это требование было уже высказано Петром Великим; но Тредиаковский был первый из ученых, из литераторов, который решился отстать от старой привычки: "На меня, прошу вас покорно, не извольте погневаться (буде вы еще глубокословные держитесь словенщины), что я оную (езду) не словенским языком перевел, но почти самым простым русским словом, то есть каковым мы меж собой говорим. Сие я учинил следующих ради причин. Первая: язык словенской у нас есть язык церковной, а сия книга - книга мирская. Другая: язык словенской в нынешнем веке у нас очень темен, и многие его наши, читая, не разумеют, а сия книга есть сладкие любви, того ради всем должна быть вразумительна. Третья: которая вам покажется, может быть, самая легкая, но которая у меня идет за самую важную, то есть что язык словенской ныне жесток моим ушам слышится, хотя прежде сего не только я им писывал, но и разговаривал со всеми". Эта причина и для нас идет за самую важную, и для нас всего важнее то, что человек, привыкший писать и даже говорить словенским языком, вдруг нашел этот язык жестким для своих ушей, признал, что новое вино требует новых мехов, новый духовный обиход русского человека требует нового, живого языка для своего выражения. Русские люди описываемого времени нашли необходимым разделаться с своим *словенским* языком, как западные европейцы нашли необходимым разделаться с мертвым латинским языком и обратиться к языку разговорному, народному. "Ежели вам, доброжелательный читатель, - продолжает Тредиаковский, - покажется, что я еще здесь в свойство нашего природного языка не уметил, то хотя могу только похвалиться, что все мое хотение имел, дабы то учинить". Мы знаем, что Тредиаковский (и не один Тредиаковский) не уметил в свойство нашего природного языка, и причина заключалась в том, что он не знал или если знал, то не понял требования Петра Великого, чтоб переводить книги языком Посольского приказа: в изучении памятников этого живого, сильного, царственного языка Московской Руси преобразователь указал лучшее средство уметить в свойство нашего природного языка.

В 1735 году мы видим Тредиаковского членом новоучрежденного Российского собрания; он открывает первое собрание торжественною речью: "При благословенной державе величайшей монархини Анны сего дождались мы счастья, мои господа, что и совершенстве российского языка попечение восприимется. Сие колыми полезно есть российскому народу, т. е. возможное дополнение языка, чистота, красота и желаемое потом его совершенство. но мне толь трудно быть кажется, что не страшит, уповаю, и вас трудностию и тягостию своею. Не о едином тут чистом переводе степенных, старых и новых авторов дело идет, что и едино и само собою коливо проливает пота, известно есть тем, которые прежде вас трудились в том, и вам самим, которые ныне трудятся, но и о грамматике доброй и

справной, согласной мудрых употреблению и основанной на оном, в которой коль много есть нужды, толь много есть и трудности, но и о дикционарии полном и довольном, который в имеющих трудиться вас еще больше силы требует, нежели в баснословном Сизифе превеликий оный камень, но и о реторике и стихотворной науки, что все чрез меру утрудить вас может".

Чтоб понять речь Тредиаковского, надобно заметить, что в Российское собрание были помещены одни переводчики: Адодуров, Волчков, Шваневец, Тауберт, Эмме. О самом Тредиаковском в реестре 1737 года говорится: "Тредиаковский, секретарь, его должность также в переводах и в присутствии при Российском собрании состоит, причем он свои труды читает и других переводы слушает; он перевел с французского языка Марсилиеву книгу "О военном состоянии Порты Оттоманской"; ныне оканчивает перевод татарской истории, а впредь во всяких переводах с французского на российский язык трудиться будет". Ясно видно, что ближайшею целью учреждения было исправление переводов общими силами всех занимающихся этим делом людей. Но одному из переводчиков, Тредиаковскому, не хочется ограничиться одною этою целью; он указывает на другие необходимые труды: составление грамматики, лексикона, реторики, пиитики; причем, без сомнения, считает себя способнее всех других заняться этими высшими трудами. Так, он говорит в той же речи: "Из основательны грамматики и красные риторики нетрудно произойти восхищающему сердце и ум слову пиитическому, разве одно только сложение стихов неправильностию своею утрудить вас может, но и то, мои господа, преодолеть возможно и привести в порядок: способов не нет, некоторые же и я имею". Действительно, в том же году он издал "Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих названий", где высказал положение, что силлабический размер, которым до сих пор писались в России вирши с тяжелой руки западнорусских ученых, не приходится к русскому языку, потому что в нем нет собственно долгих гласных: "Долгота и краткость слогов в новом сем российском стихосложении не такая, разумеется, какова у греков и у латин в сложении стихов употребляется, но токмо *тоническая*, т. е. в едином ударении голоса состоящая".

Но честь выполнения всех этих трудов, которые Тредиаковский заказывал Российскому собранию, имея в виду взять их на себя, - честь всех этих трудов предвосхитил другой русский ученый, имя которого произносится с благоговением, тогда как имя Тредиаковского произносится с насмешливою улыбкою; отчего же это произошло?

Несчастье Тредиаковского происходило, во-первых, оттого, что ему суждено было действовать в самое печальное время для русского ученого, и именно ученого, предметом занятий которого были словесные науки. Убеждение в необходимости просвещения было сильно в обществе; учредили Академию, вызвали ученых-иностранцев с большими по тому

времени издержками, но вообще на ученых смотрели как на необходимых мастеров, требовали от них непосредственной пользы, и, чем очевиднее была польза от известной ученой деятельности для удовлетворения государственным потребностям, тем ценнее был ученый. Ломоносов был отправлен за границу для занятия естественными науками с целью непосредственного приложения; Ломоносов был первый русский, получивший известность в области этих считавшихся по преимуществу полезными наук, и эта известность вначале служила прочным основанием его значения. Мы видели, что была потребность занятия русским языком, потребность его образования, очищения, но внутреннее, сознательное или бессознательное недовольство печальным состоянием русского языка было у очень немногих; большинство требовало образования и очищения русского языка для того, чтоб было легко читать на нем; большинство прежде всего нуждалось в переводах нужных книг и сердилось, получая переводы, которые были почти так же непонятны для него, как и подлинники; хорошие переводы были первою потребностью, и мы видели, что Российское собрание было составлено из переводчиков, которые обязаны были поправлять труды друг друга. Таково было главное значение, какое мог иметь в описываемое время человек, занимавшийся русским языком, - значение переводчика; такое значение имел и Третьяковский, но понятно, что это значение не могло быть важно, не могло идти в уровень с значением ученых, самостоятельно занимавшихся своими науками, с значением известных астрономов, математиков, физиков, анатомов; такое значение, повторяем, первый приобрел впоследствии Ломоносов. Но у Третьяковского было еще другое значение. В числе явлений, с которыми познакомились русские при своем сближении с западноевропейскою жизнью, было и то, что важные события в государственной жизни, дела высокопоставленных лиц прославлялись поэтами; торжественная, прославительная ода требовалась, как теперь требуется восхвалительная газетная статья. Восхвалительные оды требовались при дворе Анны более, чем при дворах ее предшественников, потому что чувствовалось более побуждений выставлять с светлой стороны действия правительства: с особенным удовольствием слушает похвалу тот, кто боится, что его не хвалят. Для удовлетворения этой потребности явились немцы - известный нам уже Юнкер, Штелин, адъютант Академии, который "упражнялся по должности своей во всем, что касается до реторики, до стихотворной науки, до правильного писания (на каком языке?) и до прочих к тому надлежащих наук; в 1737 году переводил он с итальянского на немецкий язык Марселиево "Военное состояние Оттоманской Порты"". Но восхваления нужны были и для русских, и вот Третьяковский должен был переводить оды Юнкера и Штелина, потому что заявил себя "пиитою", писал и собственные оды, издали "Способ к сложению российских стихов". Но беда заключалась в том, что верного взгляда, высказанного им в "Способе", оценить не умели, а собственные стихотворения автора и переводы его находили дурными, находили, что в немецких подлинниках бесконечно более гармонии, чем в переводах. Переводчик оказывался

бездарным, плохим, и это была главная причина, почему Тредиаковского держали в черном теле. Русскому ученому надобно было завоевать сколько-нибудь выгодное положение сильным талантом, блестящими успехами, но Тредиаковский сделать этого не мог и нес наказание за эту невозможность. А между тем Тредиаковский в описываемое время был главным представителем русских ученых из светских людей, и это, разумеется, не могло быть полезно для русского дела вообще, давая иностранцам основание слишком высоко ценить себя и слишком мало сдерживаться уважением к русским.

В описываемое время общество в России не могло обеспечить писателю самостоятельного существования; писатель искал поддержки в покровительстве сильных и благодарил за эту поддержку восхвалением покровителя. Разумеется, странно было бы упрекать Тредиаковского за восхваление главного "командира Академии" Корфа, когда пред нами множество писем от высокопоставленных лиц к Бирону - писем, наполненных самым рабским духом; когда мы знаем, что подобные восхваления не вывелись и в XIX веке, и когда наконец, популярничанье, старанье служить модному, господствующему в известное время направлению в обществе или стремление служить известному сильному кружку, могущему оказать покровительство, часто вреднее для науки и для общества, чем приписание ораторского таланта президенту Академии Корфу, как это сделал Тредиаковский. Не знаем, много ли выгод получил Тредиаковский от своей лестии пред Корфом, на которую можно смотреть как на форменную, но мы видели, что у него был покровитель, русский вельможа князь Александр Борисович Куракин, который привез его из-за границы и которому он *приписал* свою "Езду на остров Любви". Не можем определить, в чем могло выказаться дальнейшее покровительство Куракина Тредиаковскому, но бесспорно, что отношения между ними сыграли главную роль в печальном приключении, постигшем Василия Кирилловича в 1740 году по поводу знаменитого Ледяного дома.

Мы знаем, что в описываемое время шуты составляли необходимую принадлежность двора императрицы Анны, которая нуждалась в том, чтоб подле нее была постоянно женщина, без умолку болтавшая, разумеется, должна была очень жаловать шутов. В числе их находился один князь Голицын, прозывавшийся Квасником. Пятидесятилетнего Квасника вздумали женить на придворной калмычке Бужениновой, и при этом удобном случае решились повеселиться на славу, а главное, как видно, хотели развеселить императрицу, имевшую много причин печалиться. Придумали для новобрачных выстроить Ледяной дом, что легко было сделать при страшных морозах, которыми отличалась зима 1740 года. Дом был построен между Зимним дворцом (старым) и Адмиралтейством "и гораздо великолепнее казался, нежели когда бы он из самого лучшего мрамора был построен, для того казался сделан был будто из одного куска, и для ледяной прозрачности и синего его цвету на гораздо дражайший камень, нежели на мрамор, походил". Народ потешался пальбою из

ледяных пушек, стоявших у дома, ледяными дельфинами, которые ночью выбрасывали изо рта огонь из зажженной нефти, "смешными картинами", которые были поставлены за ледяными стеклами дома, освещенного внутри по ночам множеством свеч, ледяными птицами, сидевшими на ледяных деревьях с ледяными ветками и листьями, "что все изрядным мастерством сделано было", ледяным слоном в натуральную величину с сидевшим на нем ледяным персиянином; слон этот днем извергал воду, а ночью горящую нефть. Но этих хитростей было мало: придумали устроить живую этнографическую выставку, выписали по паре инородцев, подвластных России, которые должны были участвовать в торжестве шутовской свадьбы, плясать по-своему, петь свои песни и за свадебным столом насыщаться своими национальными кушаньями. К казанскому губернатору пошел указ: "Указали мы для некоторого приуготовляемого здесь маскарата выбрать в Казанской губернии из татарского, черемисского, мордовского и чувашского народов каждого по три пары мужеска и женска полу пополам и смотреть тою, чтоб они собою были не гнусные, и убрать их в наилучшее платье со всеми приборы по их обыкновению, и чтоб при мужском поле были луки и прочее их оружие и музыка, какая у них употребляется, а то платье сделать на них от губернской канцелярии из казенных наших денег". Такие же указы пошли в Архангельск, в Малороссию. В Твери получен указ: "Указали мы тех людей, которые напредь сего собираны были во время маскаратов и назывались *Весна*, ныне собрать в Твери, сколько есть из прежних, и к тому выбрать и вновь из тамошних обывателей, чтоб было тех 12 человек". В Москву отправлен приказ: "Выбрать из Калужского и Алексинского уездов деревенских восемь баб молодых и столько ж мужей их, умеющих плясать, которые б собою были не гнусны, да около Москвы набрать из пастухов шесть человек молодых людей, которые бы умели на рожках играть. Також сыскать медеянских 15 хороших собак да набрать петуховых больших перьев, колокольчиков разных рук купить". Сибирский приказ должен был прислать хвостов лисьих и волчьих, мехов заячьих, тулугов медвежьих и проч. Из Новгорода Великого потребованы 50 козлов да баранов четверорогих и пятеророгих до десяти, и чтоб все были большие. Остзейские провинции должны были выслать верховых лошадей для придворных дам.

Устройством праздника распоряжался обер-егермейстер и кабинет-министр Артемий Петрович Волынский; для торжества понадобились стихи, приветствие новобрачным; написать и произнести это приветствие поручено было Третьяковскому. Но как было сделано поручение, об этом так рассказывает сам Третьяковский в рапорте своем в Академию Наук: "Сего, 1740 года, февраля 4 дня, т. е. в понедельник ввечеру, в 6 или 7 часов, пришел ко мне г. кадет Креницын и объявил мне, чтоб я шел немедленно в Кабинет е. и. в. Сие объявление хотя меня привело в великий страх, толь наипаче, что время было позднее, однако я ему ответствовал, что тотчас пойду. Тогда, подпоясав шпагу и надев шубу, пошел с ним тотчас, нимало не отговариваясь, и, сев с ним на извозчика, поехал в

великом трепетании, но видя, что помянутый г. кадет не в Кабинет меня вез, то начал его спрашивать учтивым образом. чтоб он мне пожаловал объявил, куда он меня везет, на что мне отвечивал, что он меня везет не в Кабинет, но на Слоновый двор. и то по приказу его п-ства кабинет-министра Ар. Петр. Волынского, а зачем - сказал, что не знает. Я, услышав сие, обрадовался и говорил помянутому г. кадету, что он худо со мною поступил, говоря мне, будто надобно мне было пойти в Кабинет, и притом называя его еще мальчиком и таким, который мало в людях бывал, и то для того, что он таким объявлением может человека вскоре жизни лишить или по крайней мере в беспамятствие привести для того, что, говорил я ему, Кабинет - дело великое и важное, о чем он у меня и прощения просил, однако же сердился на то, что я его называл мальчиком, и грозил пожаловаться на меня е. п-ству А. П. Волынскому, чем я ему сам грозил, но когда мы прибыли на Слоновый двор, то помянутый г. кадет пошел наперед, а я за ним в оную камеру, где маскарад обучался, куда вшед, постояв мало, начал я жаловаться его п-ству на помянутого г. кадета, что он меня взял из дому таким образом, который меня в великий страх и трепет привел, но его п-ство, не выслушав моей жалобы, начал меня бить сам пред всеми толь немилостиво по обеим щекам, и притом всячески браня, что правое мое ухо оглушил, а левый глаз подбил, что он изволил чинить в три или четыре приема. Сие видя, помянутый г. кадет ободрился и стал притом на меня жаловаться его пр-ству, что его будто дорогою бранил и поносил. Тогда его пр-ство повелел и оному кадету бить меня по обеим же щекам публично; потом, с час времени спустя, его пр-ство приказал мне спроситься, зачем я призван, у г. архитектора и полковника П. М. Еропкина, который мне и дал на письме самую краткую матерю и с которой должно было мне сочинить приличные стихи к маскараду. С сим и отправился в дом мой, куда пришед, сочинял оные стихи и, размышляя о моем напрасном бесчестии и увечьи, рассудил поутру, избрав время, пасть в ноги его высокогерцогской светлости (Бирону) пожаловаться на его пр-ство. С сим намерением пришел я в покои к его высокогерцогской светлости поутру и ожидал времени припасть к его ногам, но, по несчастю, туда пришел скоро и его пр-ство А. П. Волынский; увидав меня, спросил с бранью, зачем я здесь; я ничего не отвечивал, а он бил меня тут по щекам, вытолкал в шею и, отдав в руки ездovому сержанту, повелел меня отвезти в комиссию и отдать меня под караул, что таким образом и учинено. Потом, несколько спустя времени, его пр-ство прибыл и сам в комиссию и взял меня перед себя. Тогда, браня меня всячески, велел с меня снять шпагу с великою яростию, и всего оборвать, и положить, и бить палкою по голой спине толь жестоко и немилостиво, что, как мне сказывали уже после, дано мне с 70 ударов, а приказавши перестать бить, велел меня поднять, и, браня меня, не знаю, что у меня спросил, на что в беспамятстве моем не знаю, что и я ему отвечивал. Тогда его пр-ство паки велел меня бросить на землю и бить еще тою же палкою, так что дано мне и тогда с тридцать разов; потом всего меня изнемогшего велел поднять и обуть, а раздранную рубашку не знаю кому

защитить и отдал меня под караул, где я ночевал на среду и твердя наизусть стихи, хотя мне уже и не до стихов было, чтоб оные прочесть в Потешной зале. В среду под вечер приведен я был в маскарадном платье и в маске под караулом в оную Потешную залу, где тогда мне повелено было прочесть наизусть оные стихи насилу. По прочтении оных и по окончании маскарадной потехи отведен я паки под караул в комиссию, где и ночевал я на четверток, но в четверток призван я был поутру, часов в десять, в дом к его пр-ству, где был взят пред него и был много бранен, а потом объявил он мне, что расстаться хочет со мною, еще побивши меня, что я, услышав, с великими слезами просил еще его пр-ство умиловаться надо мною, всем уже изувеченным, однако не преклонил его сердце на милость, так что тотчас велел он меня вывести в переднюю и караульному капралу бить меня еще палкою десять раз, что и учинено. Потом повелел мне отдать шпагу и освободить из-под караула и, призвав к себе, отпустил меня домой с такими угрозами, что я еще ожидаю скоро или не скоро такого же печального от него несчастья, буде господь по душу не сошлет".

Что люди сильные в описываемое да и в позднейшее время не разбирали средств, когда им приходилось давать чувствовать свою силу слабым, это мы хорошо знаем; что Волынский принадлежал к числу самых неустойчивых людей - это мы также знаем. Мы видели, что позволил себе библиотекарь Шумахер со студентами, подавшими на него жалобу в Сенат; в описываемое же царствование, именно в 1737 году, в Москве генерал Чернышев прибил сам поленом и потом людям своим велел бить асессора Канцелярии конфискации Глазунова за то, что тот удержал нужного ему, Чернышеву, подьячего. Поэтому не очень можем удивляться такому же поступку кабинет-министра Волынского с секретарем Тредиаковским. Но мы не можем себе представлять Волынского человеком, подверженным каким-то припадкам бешенства, способным бить человека безо всякой причины, а причины не было бить Тредиаковского за то только, что он подошел с жалобой на кадета, ибо из рассказа ясно видно, что кадет не мог предупредить Тредиаковского и пожаловаться на него; кадет начинает жаловаться тогда только, когда был ободрен тем, что Волынский на жалобу Тредиаковского отвечал пощечинами. Нам известно, как позволил себе Волынский распорядиться с князем Мещерским, но нам известно также, что он мстил Мещерскому за оскорбление. Следовательно, и в деле Тредиаковского мы должны предположить какое-нибудь особое обстоятельство, заставившее Волынского так распорядиться. Это обстоятельство очевидно: Тредиаковский был клиент Куракина, а Куракин был заклятый враг Волынского, который воспользовался случаем выместить на клиенте злобу, которую не мог выместить на патроне. Но этого мало: в челобитной императрице на Волынского Тредиаковский приводит слова Волынского, сказанные на прощание после десяти последних палочных ударов: "А притом говорил, чтоб я на него жаловался кому хочу, а я-де свое взял, и ежели-де впредь станешь сочинять песни, то-де и паче того достанется". Итак, причиною гнева Волынского на Тредиаковского была какая-то песня, написанная нашим пиитою в

насмешку над Волынским, разумеется, в угоду своему патрону, князю Куракину. Между сочинениями Третьяковского не трудно отыскать такую песню, или "басенку", как назвал ее автор: она носит название "Самохвал" и как нельзя больше относится к самому видному недостатку Волынского и к обстоятельствам его жизни:

В отечество свое как прибыл некто вспять,/ А не было его там, почитай, лет с пять;/ То за все пред людьми, где было их довольно,/ Дел славою своих он похвалялся больно,/ И так уж говорил, что не нашлось ему/ Подобного во всем, ни равна по всему.../ и проч.

Кабинет-министр Волынский, таким образом, отомстил *секретарю* Третьяковскому, человеку все же известному, имевшему сильного покровителя, отомстил в Петербурге, во дворце, в покоях фаворита; что же могло делаться в глуши, в провинции, с товарищами Третьяковского? Мы можем иметь понятие об этом из доношения Медицинской канцелярии в Кабинет 1737 года: "К архиатеру и Медицинской канцелярии президенту Фишеру обретающийся при армии доктор Ацаротий письмом представил, что он, архиатер, о непорядках и непокорствах лекарей пред докторами неизвестен, ибо оные надеются на полковых своих штабов и офицеров, им потакающих, их, докторов, мало слушают и почитают, отчего непорядки и в сочинении репортов умедления происходят, и штаб-офицеры оных лекарей хотят иметь во всем в своей команде, понеже оные штабы не токмо их как лекарей содержат, но многих как камердинеров употребляют, заставляют их и парики направлять, а которые лекари пред штабами своими не похотят излишнюю услужность и раболепство несть, на таких нападают и их по своим изволам штрафуют и бесчестят, и которые лекари у полковых штабов содержатся в страхе или в милости и употребляемы за камердинера, такие не токмо докторам послушание не имеют, но и должность свою пренебрегают, к болящим не ходят и более держатся при домах штаб-офицеров, а иные от штабов обиженные служить более не хотят".

Чин давал защиту и право, очень часто давал право чиновному обходиться бесцеремонно с нечиновным. Но малый чин не защищал пред большим, и гражданский чин не защищал пред военным. Третьяковский имел чин секретаря (чин, а не должность), но этот чин не удержал руку Волынского. Так как гражданские чины давали мало почета и защиты, то отсюда естественное стремление гражданских чиновников называться соответствующими по табели о рангах военными чинами. Но военные чины смотрели ревниво на такое самозванство, и в 1736 году состоялся именной указ: "Наикрепчайше подтверждаем, чтоб все статские служители именовались теми статскими чинами, в которых они написаны, а военными б чинами отнюдь не именовались под опасением лишения чина".

Но если в незрелом обществе одна наука, без ранга не могла внушить уважение к ее служителям, то, с другой стороны, преобразовательное

движение возбудило страсть к знанию, к литературе и в людях высокопоставленных по рождению и по рангу; таковы были поздние птенцы Петра Великого, обязанные ему своим образованием, - Василий Никитич Татищев и князь Антиох Кантемир.

Мы видели, что еще в XVII веке на севере и юге России начинаются попытки сколько-нибудь стройного, связного извлечения из летописей; видели также, что Петр Великий заказал такой труд Поликарпову и остался им недоволен. Но во время же Петра пленный русский в Швеции Манкиев в 1715 году составил известное "Ядро Российской истории". Сочинение это было посвящено Петру, но осталось неизданным до времени Екатерины II. Как ни странны иногда отступления автора "Ядра", как ни ошибочны бывают иногда его показания, все же его книга несравненно выше "Истории", т. е. витиеватой родословной, Грибоедова или синопсиса, который, следуя постоянно литовским и польским источникам, перемешивает князей и события, опуская главное, выставляя незначущее, сопоставляя разноречивые свидетельства об одном и том же событии. Книга Манкиева гораздо стройнее; после описания татарского нашествия рассказ событий по княжениям почти везде правилен, и встречаются некоторые любопытные известия, до сих пор ненаходимые в источниках. С большими подробностями рассказывает автор о взятии Новгорода Делагарди, причина тому заключается в тогдашнем положении целого русского народа, отчаянно боровшегося со шведами, и в положении самого автора в особенности: настоящая вражда и "полонное терпенье" заставили живее припомнить неприязнь древнюю. Книга заключается похвалою Петру, который "всю Русь художества и ведением просветил и будто снова переродил". Описать подробно деяния Петра автор не мог потому, что, как говорит он сам, "будучи в Швеции в плену под жестоким арестом, едва вышеписанное, по объявлению, сыскать мог, а больше известий и записок не имея, принужденным нахожуся перо покинуть".

Один бежит за наукою в Москву с берегов Белого моря, другой - из Астрахани, третий пишет русскую историю в шведском плену под жестоким арестом! Таковы были богатыри новой России; духовная сила, выступившая вследствие потрясений преобразования, была им *грузна*, принуждала к подвигам, как была грузна физическая силушка древним сказочным богатырям. К таким же богатырям принадлежал и Татищев, который за границей, изучая горное дело, в Москве, в трудах по Монетной канцелярии, в Сибири, устраивая горное дело, в Самаре, будучи начальником Оренбургской экспедиции, не переставал заниматься русскою историею, собирать ее материалы и устраивать их. Школа, усиление науки в России, очищение и устройство родного языка составляют постоянные мысли, постоянные заботы Татищева. В мнении своем о Монетной канцелярии он предлагает: "Учредить школу ремесл, где обучать, яко начало всех хитростей и просвещения ума, арифметики, геометрии, знаменования механики резного или ваяния как целых телес, так в плоскости и обронного, архитектуры, химии и металлургии, т. е. пробовать

и разделять металлы, которые все едва не во всех ремеслах великую пользу и приращение всем мануфактурам приумножать способны. Языки же чужестранные учить, хотя для разговоров не весьма нужны, но паче чтоб могли других языков полезные книги читать и разуметь, к тому же видим, что у нас от неразумия грамматических и риторических правил в канцеляриях неученые секретари и подьячие весьма пространно и темно и сумнительно или весьма недоразумительно пишут и не токмо бумаги, но и времени над меру теряют. И когда сие малое училище, доброе начало восприяв, плод покажет, тогда удобно высшие науки начать, как то во всех государствах славные академии, малое начало положе, со временем возросли". Приехав в Сибирь начальником тамошних горных заводов, Татищев также сильно хлопочет о школах.

Но среди забот о техническом образовании в России что заставило этого практического человека употреблять столько времени и трудов на русскую историю? Татищев сам рассказывает, что граф Брюс, под начальством которого он служил, занимался составлением русской географии; сперва Татищев только помогал Брюсу в этом деле, а потом должен был один взять на себя географические труды. Ставши разбираться в них хозяином, Татищев заметил, что без полной и верной истории нельзя успеть в составлении полной и верной географии, и вот он начинает заниматься русскою историею, собирает летописи, делает выписки из немецких и польских исторических книг; потому что сам знает эти два языка; из книг же, написанных на языках, ему неизвестных, заставляет переводить все относящееся к России. Собравши материалы, он приступает к пользованию ими, хочет составить из них обширный исторический труд. "Причина начатия сего моего труда, - говорит он, - хотя от графа Брюса, но в продолжение так многому сказанию и произведений главнейшее было желание воздать должное благодарение вечной славы и памяти достойному государю, его импер. в-ству Петру Великому за его высокую ко мне показанную милость, яко же к славе и чести моего любезного отечества".

Предложив во введении понятие истории, под которою разумеет *деяние* в смысле всех явлений и приключений, а не одних только дел человеческих; предложив разделение истории на священную, церковную, политическую, ученую, Татищев переходит к пользе истории, показать которую он считает нужным потому, что ему "не без прискорбности случалось слушать рассуждения о бесполезности истории". По мнению Татищева, богослов, юрист, медик, администратор, дипломат, полководец не могут с успехом исполнять своих должностей без знания истории. Для русских знание своей истории нужнее, чем знание истории других народов, но и для русских нужно изучение иностранной истории, а для иностранцев - русской; одни отечественные источники недостаточны для составления вполне беспристрастной истории, потому что отечественные писатели в своих суждениях могли руководствоваться любовью или страхом. Западноевропейские историки без знания русской истории никак не могут уяснить себе истории древних народов, обитавших в областях нынешней

России, притом иностранцы только чрез изучение русской истории могут получить средство опровергнуть ложь, сочиненную нашими врагами. Но Татищев, заставляя и своих и чужих учиться русской истории, должен был и от тех и от других встретить сильное возражение: да какой интерес и какая польза от изучения истории народа, который стал известен, получил значение только со вчерашнего дня, и что может рассказать о своей истории народ, который до вчерашнего дня пребывал в невежестве, во тьме; какие исторические памятники можно найти у такого народа? Разумеется, Татищев по средствам века не мог научным образом опровергнуть этого возражения, показать невозможность знания новой истории без знания древней, невозможность писать историю России с царя Михаила Феодоровича или выбрать из древнерусской истории какое-нибудь царствование поважнее, например Иоанна Грозного, как хотели делать тогда в Академии; Татищев, как собиратель древних памятников, оскорблялся мнением, что таких памятников не может быть много, не может быть достойных внимания исторических памятников у народа, погрязавшего во тьме невежества, и написал: "Хотя нас европейские историки тем порицают, якобы мы историй древних не имели и о древности своей не знали, для того что они о том, какие мы истории имеем, неизвестны, а хотя некоторые, сочиня выписки краткие или какое-либо обстоятельство перевели (указание на труды Миллера), то другие, думая, что мы лучше оных не имеем, и для того оную презирают: *сему некоторые наши неведущие согласуют*, а некоторые не хотя в древности трудиться и не разумея подлинного сказания, якобы для лучшего изъяснения, но паче для потемнения истины, басни сложа, внесли и сущую правость сказания древних закрыли". Второе печальное явление, на которое указывает Татищев, было необходимым следствием первого: плохое знание русской истории по источникам не только в XVII или XVIII, но и в XIX веке плодило людей, ученых-самозванцев, которые не хотели в древности потрудиться и, однако, на все имели готовое объяснение. Татищев своими словами, вероятно, обозначил Крекшина, известного выдавателя басен под именем истории.

Указав на то, что нужно для историка (обширная начитанность, логика и риторика), изложив правила исторической критики, Татищев перечисляет источники русской истории, которые разделяет на: 1) общие (Несторов Временник, Степенная книга, Хронограф, Синописис); 2) предельные, т. е. местные летописи; 3) акты; 4) участные, т. е. биографии, описания отдельных событий, жития святых. Краткие отзывы о разных перечисленных источниках вообще правильны; между материалов Татищев упоминает и о таких сочинениях, которые были известны ему только по имени и которых, несмотря на все старания, он нигде отыскать не мог. Но если сам Татищев откровенно говорит, какие книги у него были и какие он знает только по имени, подробно рассказывая, какие из них находились у кого из известных людей, то, видя такую добросовестность, имеем ли право обвинять его в искажениях, подлогах и т. п.? Если б он был писатель недобросовестный, то он написал бы, что все имел в руках, все читал, все

знает. Мы имеем полное право в его своде летописей принимать одно, отвергать другое, но не имеем никакого права в неправильности некоторых известий обвинять самого Татищева.

Сперва Татищев начал было сочинять "историческим порядком, сводя из разных мест к одному делу, и наречием таким, как ныне наиболее в книгах употребляем". Но ясный смысл, к счастью, заставил Татищева переменить намерение: он нашел в списках летописи разногласия, причем, сочиняя историю, разумеется, должен был выбирать; кроме того, списки находились в разных руках, отчего могли затеряться, ссылаться на них нельзя, "и если б, по словам Татищева, наречие и порядок их переменить, то опасно, чтоб и вероятности не погубить". Это заставило Татищева свести все списки "тем порядком и наречием, каковые в древних находятся, собирая из всех полнейшее и обстоятельнейшее в порядок лет, как они написали, не переменяя, не убавливая из них ничего, кроме ненадлежащего к светской летописи, яко жития святых, чудеса, явления и проч., которые в книгах церковных обильнее находятся, но и те по порядку некоторые на конце приложил, також ничего не прибавливал, разве необходимо нужное для выражения слово положить, и то отличал вместительною". Потом, думая, что такой свод будет невразумителен для большинства читателей и особенно неудобен для перевода на иностранные языки, Татищев перевел его на употребительный в его время язык.

После исчисления материалов Татищев предлагает разделение своего труда на четыре части: первая включает известия о летописях и описание трех главных народов - скифов, сарматов и славян - до 860 года; вторая заключает свод летописных известий от 860 года до нашествия татар; третья - от татар до Иоанна III; четвертая - от Иоанна III до царя Михаила Федоровича. Татищев хотел остановиться на избрании царя Михаила, во-первых, потому, что события начиная с этого времени еще в свежей памяти и писать историю новой династии никому не будет трудно; во-вторых, потому, что "в настоящей истории явятся многих знатных родов великие пороки, которые, если писать, то их самих или их наследников подвигнут на злобу, а обойти оные - погубить истину и ясность истории или вину ту на судивших обратить, еже было с совестью несогласно". При этом Татищев говорит, что книг, могших быть ему полезными, собрал он более 1000; жалуется на недостаток искусных переводчиков, на неправильность польских сочинений, искажавших древние имена переводом их на новые; говорит, что принесли ему пользу лексиконы: Буддеев - всеобщий исторический, Генсиусов или Мартиньеров - географический, Байлев - истории критический, но жалуется, что относительно русской истории в них нет ни одного верного известия, ибо иностранцы не знают русской истории и географии. "И они в том невинны, - прибавляет Татищев, - когда того и у нас нет".

Введение свое Татищев заключает указанием причины всех приключений и деяний: эта причина, по его мнению, есть ум или отсутствие его, глупость.

Такой односторонний взгляд соответствовал тому началу, которое было тогда на очереди в преобразованной России. Преобразование произошло вследствие того, что русские сознали необходимость просвещения, науки для продолжения своей исторической жизни. Отсюда развитие ума на первом плане, тогда как в древней России при недостатке просвещения, умственного развития господствовало чувство - другая "причина всех приключений и деяний". Как всякая сила человеческая, не умеряясь другою, стремится к крайности, производит неправильности и заблуждения, так и чувство, не умеряемое развитием умственным, просвещением вело в древней России к известным печальным явлениям, веру превращало в суеверие. Произошел переворот, на очереди явилось другое начало, и мы также замечаем односторонность и следствия ее, неправильности и заблуждения. Ревностные служители нового начала, дети преобразования, научившись и начитавшись, в своей вражде к искажению господствовавшего в древней России начала, к тому, что они называли суеверием, не поняли, что с одним умом, без чувства в истории ничего не делается, что чувство есть начало зиждительное, тогда как ум, не умеряемый чувством, может только сомневаться, отрицать и разрушать, но никогда ничего не создаст и не спасет. Умники не поняли и не понимают, что в Западной Европе так называемые средние века, века варварства и невежества, были веками зиждительными для государства и общества, потому что тогда господствовало чувство, а когда наступило господство другого направления - умственное развитие, сомнение, то зиждительства не видим: видим более или менее правильное развитие созданного, да и то только при помощи чувства, одушевления, веры.

Но от увлечений Татищева, понятных при таком ревностном служении новому началу, при сильной борьбе с искажением начала, господствовавшего в древней России, возвратимся к заслугам его. Татищев положил начало исследованиям о Несторе, первый утвердил за ним древнейшую южную летопись, первый указал место, где Нестор должен был остановиться, первый указал на позднейшие вставки, и хотя указанные им места более принадлежат начальному летописцу, чем другие, но здесь важны приемы, взгляд на дело, а не отдельные замечания, которые могут быть неверны или спорны. Татищев с презрением отвергает старания выводить руссов от библейского Роса и т. п. Руссы, по мнению Татищева, финны, но они же могут быть причислены и к варягам вместе с скандинавами, потому что это название промысла (разбойничества), а не народное. Татищев высказал мысль о древности славян в Европе и в тех местах, где они теперь обитают. Рассуждение, где автор отвергает обычное тогда производство Москвы от Мосоха и тому подобные, может служить по тому времени образцом здравого смысла, ясного взгляда на предмет. Татищев отверг существование грамоты, данной славянам Александром Македонским, но отстранено сомнение насчет подлинности договора Олегова с греками. В примечаниях к своду летописей не оставлено без объяснения почти ни одного выпуклого явления древней русской жизни.

Таков труд Татищева, известный под названием Истории Российской. Заслуга Татищева состоит в том, что он начал дело, как следовало начать: собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия, снабдил их примечаниями географическими, этнографическими и хронологическими, указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований, собрал известия древних и новых писателей о древнейшем состоянии страны, получившей после название России, - одним словом, указал путь и средства своим соотечественникам заниматься русскою историею: кто посвятил себя научным исследованиям, тот знает, как важны первые указания на предмет, на его различные стороны, как бы мнения первого указателя ни были неправильны, тот оценит важные заслуги Татищева как первого указателя, не говоря уже о том, что мы обязаны Татищеву сохранением известий из таких списков летописи, которые, быть может, навсегда для нас потеряны.

Несмотря, однако, на такое важное значение труда Татищева, труд этот был отвергнут современниками. Послушаем самого автора о приеме, который получила его рукопись: "Как скоро я историю сию в порядок привел и примечаниями некоторые места изъяснил, прибыв в 1739 году в С. - Петербург, многим оную показывал, требуя к тому помощи и рассуждения, дабы мог что пополнить, а невнятное изъяснить, так скоро я принужден был от разных разные рассуждения слышать: иному то, другому другое не нравно было; что один хотел, дабы пространнее и яснее написать, то самое другой советовал сократить или совсем оставить... Одни предвергали недостаток во мне наук, но тем я вышеобъявленное (что преславные философы в сочинении историй погрешают и не науки полезные сочиняют) к моему извинению представил, рассуждая, когда они более науками преисполнены, то б сами за сие весьма важное отечеству взялись и лучше сочинили; другие о порядке и складе порицали, которым кратко сим изъяснил: что я не новое и не для увеселения читающих красноречивое сложение сочиняю, но от старых писателей самым их порядком и наречием собирал, как они положили, а притом если что для изъяснения от иноязычных нужно было, то я так переводил, чтоб сущей разум оного писателя показать, дабы сущие деяния или приключения ясны и доказательны были, а о сладкоречии и критике не прилежал, а, как в философии не учен, для того я все дивные, чудесные и не довольно вероятные дела мало или весьма не толковал, опасаясь, дабы за недостаток оных наук в чем не погрешить. Вместо же того прилежал, чтоб необходимо к гражданской истории нужные обстоятельства, т. е. время - когда, место - где и род государей ли, народов, о которых сказуется, изъяснил; ежели же где моего мнения или довода какая погрешность явится, то надеюсь, что благоразумный может легко презреть, рассуждая, что еще до днесь ни одна история, каким бы она мудрецом и в науках всех прославившимся сочинена не была, никогда совсем совершенно не явилась и от неученых иногда полезное улучила. Чему в пример Нестор преподобный: за его доброхотный к отечеству труд вечной похвалы и благодарения достоин, ибо если бы он начало не учинил, то бы, может, и другой не скоро к

сочинению оного взялся. Для того как первых, так и других не поносят, и порицать непристойно, но паче прилежать о том, чтоб те погрешности исправить и в лучшее состояние для пользы общей привести. Другие рассуждают, яко бы древних времен историй вновь лучше и полнее прежних сочинить не можно, разве от себя что вымышлять, которого ради яко бы все новосочиненное о древности правым назвать не можно, но на сие отвечает сама сия собранная история, когда благосклонный читатель увидит дополнения, изъяснения и доказательства от таких древних писателей, о которых он прежде не думал, чтоб в таком от нас отдалении о нас или наших предках писали, да, может, не токмо книг тех не читал, но имен их не слышал, то он подлинно поверит, что еще прилежному рачителю и в других потребных к тому языках искусному более сего обрести, изъяснить и дополнить возможно, след., сей мой труд и, познав причину моего начала, в продерзость мне не поставит". Но все возражения остались тщетными: Татищев не видал издания своего труда.

В тесной связи с историческими трудами Татищева находится его Рассуждение, написанное в 1730 году и направленное против голицынского замысла ограничить власть императрицы Верховным советом. Вооружась против поступка членов Совета, Татищев говорит: "По закону естественному избрание (государя) должно быть согласием всех подданных, некоторых персонально, других чрез поверенных, как такой, порядок во многих государствах учрежден, а не четверем или пяти человекам, *как то ныне непорядочно учинено*". Отстраняя вопрос о незаконности избрания Анны, потому что народ доволен персоною ее величества, Татищев обвиняет верховников в том, что "они дерзнули собою единовластительство отставить и ввести аристократию, объявляя нам ее величества письмо и пункты, якобы она сама по своей воле учинила, и принуждают нас под образом слышания оное подписками утвердить, якобы мы их той явной продерзости следовали. И как они самовольно власть себе похитили, выключая достоинство и преимущество всего шляхетства и других санов, то нам должно и необходимо нужно с прилежностью рассмотреть и потому представить, что к пользе государства надлежит, и оное свое право защищать по крайней возможности, не давая тому закоснеть, и паче опасаться (должно), чтоб они, видя нас в оплошности, на большой беспорядок не дерзнули". В своем рассмотрении Татищев говорит, что в отсутствие государя ничто не может быть изменено иначе, как общим народным соизволением. Притом в настоящем случае не было никакой нужды и пользы в изменении образа правления, а только великий вред. В России полезнее всяких других форм самодержавие по обширности государства, окруженного враждебными соседями, и по причине отсутствия просвещения в народе, который потому не может хранить законы без принуждения, из одного сознания пользы и вреда. Вся русская история служит тому доказательством: Россия процветала от Рюрика до Мстислава Великого благодаря единовластию, бедствовала во время "беспутства" княжеских междоусобий, поднялась с Иоанна III, опять пришла в печальное состояние в Смутное время, когда бояре при Шуйском

ограничили власть государеву. Потом Россия опять поднимается благодаря усилению самодержавия при царе Алексее и получает великую славу, честь и пользу от самовластия Петра. На возражение о злоупотреблениях самодержавия Татищев отвечает примером шляхтича, безумно разоряющего свой дом, но вследствие этого явления никто не снимает воли со всего шляхетства в правлении и не возложит его на холопей. Так как желавшие ограничения особенно настаивали на вред от временщиков и на ужасы Тайной канцелярии, то Татищев должен был возражать, что бывают временщики дурные, бывают и хорошие; и Тайная канцелярия, порученная хорошему человеку, мало вредна. Но Татищев, подобно многим из шляхетства, не считал бесполезными некоторые изменения в существующих порядках; а хотел только, чтоб перемены совершались законным путем. По его мнению, для высшего управления должен был находиться при императрице Сенат из 21 члена; для дел внутренней экономии должно было быть другое учреждение из 100 человек, которые бы занимались делами по третям года; в случаях чрезвычайных, как, например, война или кончина государя, съезжаться всем и присутствовать в общем собрании целый месяц; на высшие места в гражданском управлении и войсках поступать посредством баллотировки; новые законы издавать не иначе как после подробного рассмотрения во всех коллегиях в Сенате; в Тайной канцелярии вместе с назначенным от государыни правителем должны присутствовать помесячно два сенатора; при аресте Тайная канцелярия не касается имени арестуемого; для шляхетства должны быть устроены во всех городах училища; моложе 18 лет не брать в службу и не держать более 20 лет; бедному деревенскому духовенству дать возможность содержать детей в училищах и самим не обрабатывать земли; остатки же от доходов духовенства употреблять на богоугодные и полезные государству дела; купечество избавить от притеснений и дать средства к умножению мануфактур и усилению торговли.

Говоря о заслугах Татищева для русской истории вообще, нельзя не упомянуть также о заслугах его для истории русского права, и здесь он является первым издателем памятников и первым истолкователем их: так, приготовлены им к изданию Русская Правда и Судебник царя Иоанна с дополнительными статьями. В примечаниях к Судебнику видим первую попытку объяснить наши древние юридические термины, и здесь, как во введении и в примечаниях к своду летописей, рассеяны любопытные указания и потерянные для нас памятники и на современные или на ближайšie ко времени автора события. И здесь заслуга Татищева увеличивается при сравнении его понятий с понятиями современников о предпринятых им трудах; так, он говорит в предисловии к изданию Русской Правды и Судебника: "Небезызвестно и сие, что не ведущие пользы из того оные древности не токмо складом и наречием порицают, но их и печатать более за вред и поношение, нежели за пользу и честь, почитают, говоря: когда мы их в суде употреблять не можем, то они останутся втуне и что их странное сложение и обстоятельства поносны. Да

оное никто мудрей не скажет, разве не ведущий древностей, не токмо иностранных, но и своих. По сей причине мно не в избыток изъяснить, что всякая древность к знанию полезна, для которого многие мудрые люди с великим тщанием прилежат древние истории собирать и для пользы всех издавать". Наконец, Татищеву же принадлежат и первые труды по русской географии.

Мы видели, что Татищев был одним из самых деятельных борцов за новое начало, которому стала служить преобразованная Россия, и в этом значении своем враждовал к началу, господствовавшему в древней России, не умея отделить самого начала от тех явлений, которые были произведены односторонним господством его и которые необходимо вызвали противодействие в эпоху преобразования. В подобные эпохи человек бывает не в состоянии назначить себе границы, далее которых идти не должен в своем противодействии старому началу, отчего и бывает, что, спеша обрезать вредные наросты, часто задевают за живое, здоровое тело. Вооружаясь против нароста, естественно образовавшегося в древней России вследствие исключительного господства чувства без умственного развития, вооружаясь против суеверия, поборники умственного развития часто не умели определить границ между суеверием и верою. Преобразовательная эпоха в России соответствовала в известном отношении реформационной эпохе на Западе, и только великий смысл и русская природа преобразователя удержали его от крайностей на скользкой и покато́й дороге реформационного движения. Но другие не сдерживались, тем более что, с одной стороны, увлекались новыми учителями, новыми книгами, а с другой - раздражались противодействием старых учителей, которые требовали сохранения своих старых прав, не имея, к несчастью, больших нравственных средств для поддержания своих требований. Сделает ревностный слуга нового начала выходку против этих требований, не поддержанных нравственными средствами, и старые учителя или люди, служащие старому началу во всех его проявлениях, расточают ему названия вольнодумца, безбожника, частью потому, что не могут определить настоящего смысла этих слов, частью потому, что противники их, в минуту увлечения, переходят должные границы и действительно становятся виновны, сами не желая и не замечая этого. К таким людям принадлежал и Татищев, которого, как говорят, Петр Великий по-своему, бесцеремонно, проучил за вольнодумство. Какого рода были речи, возбудившие гнев Петра, мы не знаем, но что в борьбе с суеверием он перешел границы - это видно из его сочинений; видно также увлечение его в борьбе с старыми учителями, которые являлись в его глазах охранителями суеверия; за это увлечение он был наказан потемнением смысла при объяснении исторических явлений. Так, например, он говорит: "В России науки не токмо читать и писать, но языков, греческого от самого приятия веры Христовой, а потом и латинский язык введены, и многие училища устроены были, но нашествием татар как власть государей умалилася, а духовных возросла, тогда им для приобретения больших доходов и власти полезнее явилось народ в темноте неведения и суеверия

содержать; для того все учение в училищах и в церквях пресекли и оставили". Здесь что ни слово, то ошибка. На 54-м году жизни печальные обстоятельства возбудили в Татищеве религиозное чувство, под влиянием которого он написал завещание сыну - Домострой преобразовательной эпохи. Советуя сыну поучаться в законе божием день и ночь, Татищев указывает необходимые для этого поучения книги: кроме Библии сочинения учителей церковных, изданные в его время в России истолкования десяти заповедей и блаженств предлагает вместо Катихизиса; Юности честное зеркало считает лучшим нравоучением. "Прологи и жития святых в Минеях Четврых надобно читать такому, кто довольно в письме святом искусился и мог бы довольно рассудить, ибо хотя в них многие истории в истине бытия, кажется, оскудевают и нерассудным соблазны к сомнительству о всех в них положенных подать могут, однако ж тем не огорчайся, но разумей, что все оное к благоуханному наставлению предписано, и тщися подражати делам их благим". Татищев не советует сыну вступать в религиозные споры, ибо от этого могут быть дурные следствия, как и с ним самим случилось. "Я хотя о боге и правости божественного закона никогда сомнения не имел, ниже о том, с кем в разговор или прение вступал, но потом что я некогда о убытках, законами человеческими в тягость положенных, говаривал, от несмысленных и безрассудных неведущих божьего закона, и токмо человеческие уставы противу заповедания Христова чтущих, не только за еретика, но и за безбожника почитан и немало невинного поношения и бед претерпел; токмо до днесь, благодатию божиею и великодушием презрев такие клеветы и злонамерения терпеливостью преодолев, их лицемерным поступкам и фарисейским учениям не последовал". В этой выходке против так называемых человеческих уставов указывается протестантская исходная точка, дающая такой простор отрицанию.

Любопытно взглянуть, как Домострой XVIII века отнесся к женщине. "Имей в памяти, - говорит Татищев сыну, - что жена тебе не раба, но товарищ, помощница и во всем другом должна быть нелицемерным; так и тебе с ней должно быть, в воспитании детей обще с нею прилежать, в твердом состоянии дом в правление ее поручать, а затем и самому неленостно смотреть. Однако ж храниться надлежит, чтоб тебе у жены не быть под властью: сие для мужа очень стыдно, и чрез то можешь у всех о себе худое мнение подать и слабость своего ума изъязвить. Сих примеров ныне весьма уже довольно видим, а особливо высокопарные, а лучше сказать, глупые жены безрассудно того желают, иногда своею безумною гордостью, подлыми пересмешками, пустым болтанием, дурацкою ревностью безвинно честных людей много вредят и поносят, а сами всегда такие пустольги и негодницы больше всех в том обращаются и, думая закрыть тем враньем свои пороки, непрестанно бредят, как попугаи, что им на мысль придет, а больше они подобны сонным или в горячке больным, которые говорят, а о чем, после и сами не знают, а за то иногда такую беду или несчастье мужу своему наносят, что он, невинно получа себе от жениной глупости новых и неизвестных злодеев, принужден будет

страдать и несчастье терпеть". В этих словах слышится раздражение, как будто сам автор страдал от подобной женщины... Действительно, Татищев не знал семейного счастья и должен был развестись с своею женою. Впрочем, мы не имеем права заподозрить в преувеличении этого портрета некоторых русских женщин первой половины XVIII века, ибо терем не мог воспитать русской женщины для свободы, и мы видели примеры тому в первых женщинах, вырвавшихся из терема; мы должны только заметить, что подле портрета женщины, нарисованного Татищевым, мы встречаем портрет княгини Натальи Борисовны Долгоруковой; также встречаем любопытный портрет той молодой жены, которая так заботилась, хотя и понапрасну, об учении своего мужа. Вообще мы должны заметить, что семейная реформа Петра, освобождение женщины из терема, совершилась скоро и беспрепятственно - доказательство, что теремное заключение женщины коренилось не в *умоначертании* наших предков, не в каких-нибудь религиозных воззрениях, занесенных из Византии, а в известных неблагоприятных обстоятельствах: грубость нравов делала невозможным пребывание женщины в мужском обществе, ибо в человеке не умирает сознание, что женщина есть блюстительница семейной нравственности, семейного наряда и потому должна находиться в среде более чистой; с другой стороны, давно ли у нас явилась возможность для девушки выходить без провожатого из дому, да и явилась ли еще полная возможность? Итак, девушка, если у нее нет провожатого, должна оставаться дома; усильте неблагоприятные условия, по которым девушка, молодая женщина и вообще женщина, вообще существо слабое не может безопасно выйти из дому, и вы придете к необходимости для женщины сидеть по большей части дома; прибавьте сюда, что некуда и незачем ей выходить из дому, ибо общество не может предоставить ей приличных развлечений, и вы, естественно, дойдете до терема и не станете прибегать за объяснением явления к каким-нибудь небывалым византийским влияниям. Ни один современный писатель не говорит, что семейные реформы Петра встретили сопротивление со стороны каких-нибудь византийских влияний; где же основание предполагать эти влияния?

Любопытны рассуждения нового Домостроя о разных родах службы для дворянства и о других сословиях. Придворная служба, как она была в описываемое царствование, не нравилась Татищеву, особенно потому, что это был человек, пропитанный понятиями петровского царствования, отличавшегося простотою и бережливостью. "Петр Великий, - говорит он, - который великолепие единственно делами своими показывал, сей чин придворных ни во что вменял и в ранг их не токмо на конце, но весьма низкий положил; у него оные весьма в презрении были, и лучше сказать, что никого не было. Ныне же оные рангами, жалованьем и другими преимуществы против европейских государств пожалованы; то я, взирая на их строптивное житье и обхождение, тогда б тебе оного искать не советовал: понеже тут лицемерство, коварство, лесть, зависть и ненависть, едва ли не все вместо добродетели происходит, а некоторые ушничеством ищут свое благополучие приобрести, несмотря на то что губят невинных, сами вскоре

судом божеским погибнут". Относительно дворянской службы вообще Татищев объявляет сыну, что жалованьем если прожить можно, но скопить деньги и на них приобрести более 100 душ нельзя, как бы велико жалованье ни было, и то надобно жить очень скупой, причем можно показать себя "презрительным в людях благородного обхождения". Следовательно, средствами для дворянина приобрести богатства остаются: монаршие награды, наследство, супружество и незаконные поступки. Для купечества больше средств разбогатеть, но мешает безграмотность, незнание правил коммерции, неимение общего банка и контор за границей, разорение потребителя откупам и подрядами под видом государственной пользы, плохой кредит вследствие привычки купцов к обманам.

Приобрел ли дворянин во время службы что-нибудь или нет, все же хотя под старость он должен был освободиться от службы, чтоб по крайней мере сохранить детям приобретенное или полученное от отца имение. Отсюда понятна для дворянства важность вопроса о сроке службы. Мы видели, что Татищев также хлопотал об определении этого срока. В своем завещании он начертывает картину деятельности помещика, приехавшего в деревню после отставки от службы. Если Татищев враждебно относился к духовенству, приписывая ему иногда и то, в чем оно вовсе не было виновато, то вражда его была направлена на высшее, черное духовенство, которое имело голос в управлении, в обществе и которое, несмотря на петровские ограничения, обладало большими еще материальными средствами. Но здравый смысл и опытность должны были заставить Татищева смотреть иначе на низшее, белое духовенство, удрученное бедностью, а в селах и тяжелыми полевыми работами, не дававшими возможности священнику выделиться из паствы своими учительскими Способностями, что было причиною страшного нравственного вреда для массы народонаселения. Делая выходку против некоторых архиереев, которые имели до 30000 дохода и не были довольны, тогда как фельдмаршал не имел столько дохода и был доволен, Татищев и в мнении своем 1730 года, как мы видели, и в завещании требует облегчения низшего духовенства: "Старайся иметь попа ученого, который бы своим еженедельным поучением и предикою к совершенной добродетели крестьян твоих довести мог, а особливо где ты жить будешь; имей с ним частое свидание; награди его безбедным пропитанием, деньгами, а не пашнею, для того чтоб от него навозом не пахло; голодный, хотя б и патриарх был, кусок хлеба возьмет, за деньги он лучше будет прилежать к церкви, нежели к своей земле, пашне и сенокосу, что и сану их совсем неприлично, и чрез то надлежащее почтение теряют. А крестьяне, живучи в распутной жизни, не имея доброго пастыря, в непослушание приходят, а потом господ своих возненавидят, подводя воров и разбойников, смертельно мучат и тиранят, а иных и до смерти убивают. Когда ж где есть ученый поп и доброго поведения человек, к тому ж не имеющий крайней в деньгах нужды, то, конечно, приведет крестьян в благоденственное и мирное житие, и злодеяний таких в тех местах мало бывает". Невежество и бедность сельского духовенства были главными причинами того, что

крестьяне были лишены толкования закона божия: "Невежды, ленивые и неученые попы, получая от крестьян алтыны, мирволят и совсем на них того не взыскивают, к тому ж почасту, обращаясь с крестьянами братством, одно только им рассказывают и вымышляют праздники, велят варить беспрестанно пиво, сидеть вино, едят и пьют безобразно, а о порядочной и прямой христианской должности никакого и помышления не имеют".

Необходимое дополнение к завещанию представляют "Экономические записки" Татищева, имеющие предметом сельское хозяйство. Здесь особенно важны для нас те статьи, в которых говорится об отношениях помещика к крестьянам. По мнению Татищева, "наивящий пункт - учить крестьянина грамоте и писать, чрез что познает закон и страх божий и тем может назваться истинным человеком и различить себя от скота... Смотреть надлежит, дабы летом во время работы нималой лености и дальнего покою крестьянам происходить не могло. Кроме одних тех праздников, которые точно положены, не торжествовать, понеже ленивые крестьяне ни о чем больше не пекутся, как только узнать больше праздников. Работу производить, начав с вечера, ночью и поутру, а в самое жаркое время отнюдь не работать, ибо как людям, так и лошадям оно весьма вредно. Работу же производить, сделав сперва помещичью, а потом принуждать крестьян свою, а не давать им то на волю, как то есть в худых экономиях, где не смотрят за крестьянскою работою, понеже от лености в великую нищету приходят, а после произносят на судьбу жалобу. Когда же убран будет с поля весь хлеб, то староста и прикащик не имеет их больше к работе принуждать и должен им дать покой несколько времени, а за труды их, выбрав свободный день и собрав всех, напоить и накормить из боярского кошту. Крестьян старых и хворых мужеска и женска пола по миру не пущать, а определять их в домовую богадельню, которых поить и кормить боярским коштом". В имении должен быть лекарь, домашняя аптека, баня.

В основном взгляде на отношения своего времени с Татищевым вполне сходится и князь Антиох Кантемир в своих сатирах. Всецело преданный, как и Татищев, интересам нового времени, как они были указаны преобразователем, человек образованный, жадный к знанию, суливший себе блестящую будущность при Петре благодаря именно своей образованности, молодой Кантемир должен был начать свое служебное поприще с обманутыми надеждами: Петр был уже во гробе, его дело останавливалось, даже обнаруживалась реакция; преемниками Петра были - сначала женщина, обманувшая во многом надежды своих приверженцев, потом испорченный дурным воспитанием ребенок, частные интересы сильных людей были на первом плане. Среди борьбы честолюбий молодой Кантемир явился одинок и был затерт с своими личными достоинствами и с своею наукою, которые при Петре так легко прокладывали путь человеку к высшей деятельности. У Кантемира было несколько братьев; по уставу майората, отец имел право из нескольких сыновей выбрать одного, хотя бы и младшего, и оставить ему все недвижимое имение. Старый князь

Дмитрий Кантемир, умирая, предоставил назначение майората императору, причем, однако, указывал на младшего сына, Антиоха, как на "лучшего в уме и науках". Конечно, при жизни Петра Великого Антиох на этом основании и получил бы майорат, но Петра не было, и Верховный тайный совет распорядился иначе - отдал майорат брату его Константину, разумеется не без помощи князя Дм. Мих. Голицына, на дочери которого был женат Константин Кантемир. Отсюда сильное раздражение Антиоха против существующего порядка вещей, мрачный взгляд, усиливаемый болезненным состоянием, хотя в свою очередь удары судьбы усиливали болезненное состояние и были не без влияния на преждевременную смерть; отсюда молодой человек, начавший пробовать свой талант в нежных любовных стихах, признал в себе исключительную способность к сатире:

В сатирах хочу состарети,/ А не писать мне нельзя - не могу стерпеть.../
Хоть муза моя всем сплошь имать досаждати,/ Богат, нищ, весел, скорбен -
буду стихи ткати;/ И понеже ни хвалить, ни молчать не знаю,/ Одно
благонравие везде почитаю,/ Проче в сатиру писать в веки не престану.

Будучи так сильно недоволен настоящим положением дел, т. е. положением их в царствование Петра II, Кантемир естественно и необходимо примыкал к тому немногочисленному кружку, который своею главою считал Феофана Прокоповича, ученейшего из русских людей, за свою ученость подпавшего гонению от исчадий старого мрака. Личные достоинства и знания, пролагавшие при Петре путь к чести, теперь "не в авантаже обретались", и вот по смерти Петра II это печальное положение дел хотят увековечить: две знатнейшие фамилии хотят сосредоточить всю власть в своих руках, свобода для очень немногих, вместо самодержавия олигархия! Легко понять, почему Прокопович, Татищев и Кантемир принимают такое деятельное участие в движении, направленном против ограничения самодержавия Верховным тайным советом, т. е. Голицыными и Долгорукими, ибо остальные члены Совета сами трепетали за свое будущее, никак не надеясь удержать своих мест подле Голицыных и Долгоруких. Дело шло не о том, собственно, чтоб возвратить Россию к допетровскому времени, как мы обыкновенно понимаем это время в противоположность эпохе преобразования; не во власти Долгоруких и Голицыных было заставить Россию отказаться от европейских условий жизни, если бы даже они этого и хотели: дело шло о противодействии стремлениям Петра Великого в известных частностях, выгодных или невыгодных тем или другим лицам, тому или другому сословию, тому или другому кружку. Отсюда и могущественные побуждения к борьбе. Способности и знания обретались в авантаже при Петре; после него обрелись не в авантаже; напротив, люди, обретавшиеся при Петре не в авантаже, подняли головы и чуть-чуть не погубили Феофана; теперь предстоит переворот, затеянный в Верховном тайном совете, но этот переворот мог ли быть выгоден Феофану с товарищи, мог ли возвратить им авантаж? Надежды на это не было никакой: захватывали власть в свои руки

люди, считавшие главным правом своим на власть происхождение, люди, которые враждебно относились к деятельности преобразователя именно за то только, что он вывел и дал преимущественное значение худородным людям за таланты и знания. Для одних время Петра было райским, золотым веком, потому что они тогда обретались в авантаже; для других это время вовсе не было желанным, потому что они тогда обретались не в авантаже или по крайней мере не в таком, на какой считали себя вправе. Последние брали решительный верх; первые должны были употребить все усилия, чтоб не дать им господства.

Усилия увенчались успехом: голицынский замысел рушился, но вначале, как мы видели, правительство считало нужным соблюдать большую осторожность относительно врагов и друзей; мы видели, что издан был манифест, направленный против архиереев-нововводителей, пренебрегавших крестными ходами, а главою архиереев-нововводителей считался Феофан; в манифесте заключалась даже выходка против преобразователя, объявлялось, что относительно веры все будет по старине, как было при деде и отце Анны. Должно быть, к этому времени относятся жалобные стихи Феофана:

Коли дождусь я весела ведра/
И дней красных?/
Коли явится милость
прещедра/Небес ясных?/
Ни с каких стран света не видно, - /
Все ненастье;/
Нет и надежды. О многобедно/
Мое счастье!/
Хотя же малую явит отраду/
И поманит/
И будто польготит стаду,/
Да обманет./
Прошел день пятый, и
под дождевых/
Нет отмены,/
Нет же и конца воплей
плачевных/
И кручины.

Кантемир счел своею обязанностью написать Феофану утешительные стихи (*epodos consolatoria*), в которых говорит, что по ясным приметам наступает весна, явилась благодатная Диана (Анна): она скоро затравит диких зверей, разделит добычу (кожи этих зверей) и охранит стадо Феофана, который представляется седым пастухом, воспевающим Диану. В заключение Кантемир указывает на собственный пример: его также постигло несчастье, но он не унывает.

У меня было мало козляток,/
Ты известен,/
Но и сих Егор и его други/
Отогнали./
Уж трижды солнце вокруг обежало/
Путь свой белый,/
А я не имею льготы нимало,/
Весь унылый,/
Лишен и стадца, лишен хижины,/
Лишен нивы,/
Меж пастушками брожу единый/
Несчастливый. Кантемир надеялся не понапрасну. Молодой человек был отправлен министром в Лондон на основании способностей и знаний. как делывалось при Петре; бедный пастушок получил также и стадце и ниву (деревни в Нижегородском и Брянском уездах) и воспел за это благодатной Диане громкую оду. Но если обычаем времени, господствующими в нем отношениями объясняется вообще привычка поэтов XVIII века сочинять высокопарные оды в честь сильных земли, то тем более понятны похвальные стихи Анне Феофана и Кантемира, ибо они были диктованы

благодарностью. Сказавши, что Аполлон запретил ему писать похвалы императрице по неимению достаточного для того таланта, Кантемир заканчивает свою оду так:

Молчу убо, но молча сильно почитаю/ Тую, от нея же честь и жизнь признаваю.

Но для похвальной оды Кантемир не признал в себе способностей; ему больше всего нравилась сатира: что же он осмеивал в ней?

По отношению нашего автора ко времени Петра Великого и последующему за ним уже можно догадаться, кому больше всего достанется в его сатире; поклонник нового начала, умственного развития посредством науки, он прежде всего схватится с старыми учителями, старыми руководителями общества, будет обвинять их в своекорыстном поклонении господствовавшему прежде началу, в его искажении, раздражаясь тем, что старые руководители упрекали его злоупотреблениями, крайностями того начала, которому он служил; он упрекал их в суеверии - они упрекали его в неверии. Борьба велась давно; началась она с тех пор, как в Москву явились новые учителя из Киева и Белоруссии и уличили старых учителей в невежестве, с тех пор как молодые люди стали ездить в Киев для науки и пренебрегать старыми духовниками; наплыв новых учителей усиливался все более и более, молодые люди стали ездить подальше Киева за наукою и возвращались еще более холодными к своим духовным отцам. Но и не одни ездившие за границу для науки обнаруживали эту холодность; пример Тверитинова с товарищами показывал, какие могут быть следствия того, что русские люди пошли в науку к иностранным, иноверным учителям. И старые учителя, которых величают невеждами, отплачивают своим порицателям, указывая в науке источник ереси, неверия. Это производило сильное впечатление; чтоб ослабить его, приверженцам нового нужно было выставить обличителя в смешном виде, показать, что он смешивает существенное с несущественным; что он полагает религию только в одной внешности, в одном обряде, и делает это не по одному невежеству, но из самых недостойных побуждений, из честолюбия и корыстолюбия:

Расколы и ереси науки суть дети,
Больше врет, кому далось больше разумети,
Приходит в безбожие, кто над книгой тает, -
Критон с четками в руках ворчит и вздыхает,
И просит свята душа с горькими слезами
Смотреть, сколь семя наук вредно между нами.
Дети наши, что пред тем тихи и покорны,
Праотческим шли следом к божией проворны
Службе, с страхом слушая, что сами не знали,
Теперь к церкви соблазну библию честь стали.
Толкуют, всему хотят знать повод, причину,

Мало веры подая священному чину;
Потеряли добрый нрав, забыли пить квасу,
Не прибьешь их палкою к соленому мясу.
Уже свечек не кладут, постных дней не знают,
Мирскую в церковных власть руках лишну чают.
Шепча, что тем, что мирской жизни уж отстали,
Поместья и вотчины весьма не пристали.

Мы видели, что сухой прозаик Татищев, вооружаясь против излишних доходов высшего черного духовенства, требовал усиления материальных средств низшего, белого духовенства, указывал, что крайняя бедность делает его неспособным исполнять обязанности своего звания. Сатирик Кантемир не дает себе этого труда указывать причину явления; он хватается смешные и не нравственные черты, чтоб только поглумиться над попом и глумлением своим еще ниже погрузить несчастного в ту тину, из которой Татищеву хотелось бы его вытянуть для общей пользы. Говоря о зависти, Кантемир непременно выставит зависть попов соборных; описывая, как он весело и скоро пишет сатиры, сделает такое сравнение:

Проворен, весел спешу, как вождь на победу/
Или как поп с похорон к жирному обеду.

Кантемир не пропустит укорить попа и за то, что он "молитвы ворчит, спеша сумасбродно, сам не зная, что поет". Посмеется и над аппетитом поповской семьи:

Пространный стол, что семьи поповской съесть трудно./
В тридцать блюд, еще ему мнилось явство скудно.

Татищев указывает причину, почему священник не учит своих прихожан, а бражничает с ними; Кантемир глумится над явлением и хотя выставляет бедность священника, но не с тем, чтоб возбудить сочувствие к бедствующему:

Вон на пастырей взглянем./ Так тут-то уж разве дивиться устанем./
Хочет ли кто божьих слов в церкви поучиться/
От пастыря, то я в том готов поручиться./
Что, ходя в церковь, не раз потом обольется./
А чуть ли о том от них и слова добьется./
Естли ж он подошел к попу на кружало./
То уж там одних ушей будет ему мало./
Не переслушаешь речь его медоточну:/
Опишет он там кругом церковь всю восточну./
Да как? Не учением ведь здравым и умным./
Но суеверным и мозгом своим, с вина шумным:/
Плетет тут без рассматру и без стыда враки:/
В-первых, как он искусен все свершать браки./
Сколько раз коло стола обводити, знает/
И какой стих за всяким ходом припеваает./
То, все это рассказав, станет поучати./
Как с честью его руку должно целовати./
Не знаю, говорит, как те люди спасутся./
Что давать нам на церковь и с деньгами жмутся./
Ведь не с добра

моя в заплатах-де ряса;/ Вон дома назавтра дет на что купить мяса;/ Все-де черт склонил людей и с немцами знаться.

Говоря о трудном деле, Кантемир не преминет сказать: "Трудней то, нежели попу не славить святую неделю". Смешно, и довольно, а почему - сатирик не обязан этого объяснять.

Не щадя духовенства, Кантемир, разумеется, предполагал, что и оно его шадить не будет; так, в сатире на человека он говорит:

Здесь пора бы уж кончить, но зрю пред собою/ Толпу людей брадатых,
черною главою/ Кивающих, и слышу с ярости вопити,/ Временной, вечной
казни мя достойна быти - / За то, что тварь изящну, чудну, несказанну./
Наподобие творца премудро созданну,/ Так охулить дерзнуло перо
неучтиво.

Мы видели, что Кантемир приписывал свою беду Георгию Дашкову и друзьям его. Мы не имеем права отвергать этого свидетельства; Дашков, архиерей неученый и стремившийся, однако, к первенству, к патриаршеству, враждовавший с Феофаном Прокоповичем, старавшийся показать, что Феофан не имеет права на первенство, потому что основание этого права, ученость, ведет к неправославному образу мыслей, как это и видно в Феофане, - такой архиерей не мог сочувствовать молодому человеку, жаркому поклоннику науки и ученейшего архиерея Феофана; враждебно столкнуться им было где, и устная сатира Кантемира относительно Дашкова, вероятно, предупредила писаную. В начале второй сатиры прямо выводится ростовский архиепископ, опечаленный тем, что не мог достигнуть патриаршества:

Что так смутен, дружок мой? Щеки внутрь опали,/ Бледен, и глаза красны,
как бы ночь не спали!/ Задумчив, как тот, что чин патриарш достати/ Ища,
конный свой завод раздарил некстати.

И в первой сатире, конечно, имелся в виду тот же Дашков:

Епископом хочешь быть? Уберися в рясу,/ Сверх той тело с гордостью риза
полосата/ Пусть прикроет, повесь цепь на шею от злата,/ Клобуком покрой
главу, брюхо бороною,/ Ключку пышно повели везти пред тобою./ В карете
раздувшись, когда сердце с гневу/ Трещит, всех благословлять нудь праву
и леву;/ Должен архипастырем всяк тя в сих познати/ Знаках, благоговейно
отцем называти./ Что в науке? Что с нее пользы церкви будет?/ Иной, пища
проповедь, выпись позабудет,/ Отчего доходам вред, а в них церкви права/
Лучшие основаны и вся церкви слава.

Георгий Дашков не отличался монашеским образом жизни; отличалось им другое духовное лицо, также враждебное Феофану, а следовательно, и друзьям его, - троицкий архимандрит Варлаам, которого некоторые

прочили в патриархи за благочестие. Благочестие! Но это лицемерие, по словам друзей Феофана, и вот сатирик рисует Варлаама:

Варлам смирен, молчалив, как в палату войдет,/ Всем низко поклонится, к всякому подойдет,/ В угол свернувшись потом, глаза в землю втупит;/ Чуть слышать, что говорит, чуть, как ходит, ступит./ Бесперечь четки в руках, на всякое слово/ Страшное имя Христа в устах тех готово./ Молебны петь и свечи класть склонен без меру,/ Умильно десятью в час выхваляет веру/ Тех, кои церковную славу расширили/ И великолепен храм божий учинили;/ Души-де их подлинно будут наслаждаться/ Вечных благ. Слово к чему, можешь догадаться;/ О доходах говорить церковных склоняет,/ Кто дал, чем жиреет он, того похваляет,/ Другое всяко не столь дело годно богу,/ Тем одним легку сыскать можем в рай дорогу./ Когда в гостях за столом - и мясо противно,/ И вина не хочет пить, да то и не дивно:/ Дома съел целый каплун, и на жир и сало/ Бутылку венгерского с нуждой запить стало./ Жалки ему в похотях погибшие люди,/ Но жадно пялит с под лба глаз на круглы груди,/ И жене бы я своей заказал с ним знаться./ Бесперечь советует гнева удаляться/ И досады забывать, но ищет в прах стерти/ Тайно недруга, не даст покой и по смерти.

Но среди этих невежд, честолюбцев, корыстолюбцев и лицемеров поднимается один достойный пастырь, осыпaeмый похвалами, - это Феофан Прокопович. Феофан стихами приветствовал первую сатиру девятнадцатилетнего Кантемира, озаглавленную "На хулящих учения". Феофан уговаривал молодого сатирика плюнуть на угрозы сильных глупцов и продолжать свое дело, нападать на "нелюбящих ученой дружины". Кантемир в третьей сатире называет Феофана "дивным первосвященником", которому сила высшей мудрости открыла все свои тайны, пастырем, недремно радеющим о своем стаде, часто сеющим семя спасения и растящим его словом и примером, защитником церковной славы, исправителем испорченных нравов пастырских; воля всевышнего исходит из его уст ясною и проч.

Из светских современников Кантемира в сатирах его заметно выдается фаворит Петра II молодой князь Иван Алексеевич Долгорукий. У автора могли быть с ним и личные столкновения, но и, кроме того, Кантемира могла раздражить противоположность судьбы Долгорукова и его самого: оба были очень молоды, оба были знатного происхождения, но один, богатый дарованиями и знаниями, был беден и занимал ничтожное положение: другой, не имея ни талантов, ни образования, был наверху почестей. Вот что говорит Кантемир о Долгоруком:

Сей новый Менандров друг Ксенон назывался,/ Коему и власть и чин высокий достался/ В двадцать лет, юность всегда и в узде ретива./ Сего уже разуздав, богиня плешива,/ Ты сам суди, как с одной рыскал на другую/ Пропасть, потеряв совсем дорогу прямую./ Часто смотря на него, я лопался с смеху,/ Хоть меня шутом Менандр ему дал в утеху./ Не умерен в похоти,

самолюбив, тщетной/ Славы раб, невежеством наипаче приметной,/ На ловли с младенчества воспитан с псарями./ Как, ничему не учась, смелыми словами/ И дерзким лицом о всем хотел рассуждати,/ (Как бы знанье с властью раздельно бывати/ Не могло), над всеми свой совет почитати,/ И чтительных сединой молчать заставляя,/ Хотя искус требует и труды и лета.

Кроме выходок против пороков духовенства, в сатирах Кантемира встречаем следующие темные стороны тогдашнего общества: судья бежит осторожно от просителя, у которого карман пуст; Целовальник, давши взятку судье, прикрывает свое казнокрадство; купец при продаже беспрестанно божится. В высш обществе автор нападает на щегольство, картежничество; упрекает за дурное обращение с крепостными:

Каменный душою,/ Бьешь холопа до крови, что махнул рукою/ Вместо правой левою: зверям лишь прилична/ Жадность крови, плоть в слуге твоём однолична

Целую сатиру Кантемир посвятил "бесстыдной нахальчивости". Это явление особенно свойственно обществам незрелым, каково было русское, и причиняет страшный вред. По отсутствию достаточного образования в лицах правительственных и в массе нет способности и привычки критически и спокойно относиться к явлениям и людям, подвергать их строгой оценке; вследствие умственной Неразвитости человек привык увлекаться первым впечатлением, внешностью, уступать силе, натиску, считать громкую и быструю речь признаком сильного ума и обширных знаний. Отсюда люди действительно способные, знающие и трудолюбивые, но скромные, добросовестные и занятые, следовательно, не имеющие времени бегать ко всем и всюду и трубить о себе, остаются в тени, забытые, не имеют достойного для их способностей и знаний поприща, а выходят наверх люди способные выставяться, говорить громко, говорить сами о себе, мозолить глаза других своим присутствием всюду и таким образом приобретать памятование о себе, известность, Человек действительно спокойный и знающий работает где-нибудь в углу; кто его знает, кто его помнит? Да если и вспомнят и спросят о чем-нибудь, то чужак ответит: "Не знаю, надобно подумать, справиться", а это скучно; тогда как нахал всегда тут и все знает, ответ на все готов; придумает что-нибудь, всем расскажет по двадцати раз, напишет три строки - объездит всех сильных земли и прочтет. Нужды нет, что эти строки по напечатании сейчас забываются; нужды нет, что и слушающие скучают чтением неугомонного автора, но очень приятно, что человек пришел, прочел, значит, уважает, дорожит мнением, считает способным оценить произведение, помнит, и его за это помнят и напоминают об нем, когда нужно. Поднимется важный вопрос, начнется общее дело - наш молодец тут первый, суетится и кричит громче всех. Кантемир не мог не отозваться с горечью об этом явлении:

Другой, кому боги благосклонны,/ Дали медное лицо, дабы все законны/
Стыда чувства презирать, не рдась, не бледнея,/ У всяких стучит дверей,
пред всяким и шея/ И спина гнется его; в отказе зазору/ Не знает, скучая
всем, дерзок без разбору./ Заслуги свои, род, ум с уст он не спускает./
Чужие шиплет дела, о всем дерзко судит,/ Себя слушать и неметь всех в
беседе нудит/ И дивиться наконец себе заставляет./ Редко кто речи людей
право вносить знает./ И склонен, испытав слов силу всех подробно,/ Судит
потом, каков мозг, кой родит удобно,/ Легко те слова; больша часть в нас
по числу мерит/ Слов разум и глупцами молчаливых верит.

Разумеется, Кантемир в своих сатирах не мог не коснуться того
унизительного порока, который был так силен в древней России и от
которого не отставала новая ни в одном слое общества, - именно пьянства;
не мог он не коснуться и того печального взгляда, что финансовые выгоды
правительства связаны с поддержанием этого порока. Выставляя
опасность, которую могут навлечь на автора его сатиры, Кантемир говорит:

Вон Кондрат с товарищи, сказывают, дышит/ Гневом и, стряпчих собрав,
челобитну пишет,/ Имея скоро меня уж на суд позвати,/ Что, хуля Клитесов
нрав, тщуся умаляти/ Пьяниц добрых и с ними кружальны доходы.

Отвратительная картина пьянства представлена в пятой сатире; сатир
рассказывает:

Прибыл я в город ваш в день некой знаменитой;/ Пришед к воротам,
нашел, что спит как убитой/ Мужик с ружьем, как потом проведаль./
Поставлен был вход стеречь; еще не обедал/ Было народ, и солнце
полкруга небесна/ Не пробегло, а почти уж улица тесна/ Была от лежащих
тел. При взгляде я первом/ Чаял, что мор у вас был; да не пахнет стервом./
И вижу, что прочие тех не отбегают./ Там люди, и с них самых ины
подымают/ Руки, или головы тяжки и румяны;/ И слабость ног лишь не
дает встать; словом все пьяны./ Пьяны те, кои лежат, прочи не потрезвее./
Не обильнее умом, ногами сильнее./ Безрассудно часть бежит, и куды, не
знает;/ В сластолюбных танцах часть гнусну грязь топтает,/ И мимо
идуших грязнит, скользя упадая,/ Сами мерзки; другие, весь стыд забывая./
Телу полну власть дают пред стыдливым полом и проч.

Мы видели, в каких отношениях находились Феофан, Кантемир и Татищев
и им подобные ко времени Петра и к последовавшему за ним, в каких
надеждах воспитались они, утвердились при Петре и как обманулись в них
по его смерти; отсюда тоска о золотом веке минувшем, жалобы на
настоящее, старание показать, что лучшее будущее возможно только тогда,
когда возвратятся назад, к началам и стремлениям, господствовавшим при
Петре. Положение *ученой дружины* после Петра резко выражено в
следующих стихах Кантемира:

К нам не дошло время то, в коем председала/ Над всем мудрость и венцы одна разделяла./ Будучи способ одна к высшему восходу./ Златой век до нашего не дотянулся роду;/ Гордость, леность, богатство мудрость одолело/ Науку невежество местом уж посело./ Под митрой гордится то, в шитом платье ходит./ Судит за красным сукном, смело полки водит./ Наука ободрана, в лоскутах обшита/ Изо всех почти домов с ругательством сбита./ Знаться с нею не хотят, бегут ее дружбы./ Как, страдавши на море, корабельной службы.

Что эти стихи вылились прямо из сердца, переполненного тоскою по светлом прошедшем, смененном мрачным настоящим, доказывает поэтическое достоинство их. Превосходно выражение, взятое из знакомого тогда всем местничества: "Науку невежество местом уж посело". Превосходно сравнение: "Как, страдавши на море, корабельной службы". Действительно, многих во время качки преобразовательной эпохи сильно тошнило от науки, требуемой преобразователем; приятно им было теперь отдохнуть и, разумеется, враждебно смотрели они на тех, которые приглашали их опять в море. По убеждениям Кантемира, посредством "мудрых указов Петровых русские стали новым народом". Петр есть отец новых русских людей, отец "ученой дружины" (в смысле древнегреческого героя, родоначальника):

Большу часть всего того, что в нас, приписуем/ Природе, если хотим исследовать зрело,/ Найдем воспитания одного быть дело,/ И знал то, высшим умом монарх одаренный,/ Петр, отец наш, никаким трудом утомленный,/ Когда труды его нам в пользу были нужны./ Училища основал, где промысл услужный/ В пути добродетелей умел бы наставить/ Младенцев, осмелился и престол оставить/ И покой; сам странствовал, чтоб подать собою/ Пример в чужих брать краях то, что под Москвою/ Сыскать нельзя: сличные человеку нравы/ И искусство. Был тот труд корень нашей славы./ Мужи вышли годные к мирным и военным/ Дела, внукам памятни нашим отдаленным.

После Петра все пошло дурно; даже и в старании исполнить его предначертания относительно просвещения не умели вести дело как следует. Так, наш ученый сатирик недоволен Академиею Наук:

Вон дивись, как учения заводят заводы:/ Строят безмерным коштом тут палаты славны;/ Славят, что учения будут тамо главны;/ Тщатся хоть именем умножить к ним чести/ (Коли не делом); пишут печатные вести/ Вот завтра учения высоки зачнутся./ Вот уж и учителя заморски сберутся:/ Пусть как можно всяк скоро о себе радеет,/ Кто оных обучаться охоту имеет./ Иной бедный, кто сердцем учиться желает/ Всеми силами к тому скоро поспешает./ А, пришед, комплиментов увидит немало,/ Высоких же наук там стены не бывало.

Кантемир имел одинаковую участь с Татищевым: и его сочинения не были изданы при его жизни; сатиры ходили по рукам в рукописях, и легко понять, что одним из главных распространителей их был "дивный первосвященник" Феофан Прокопович. Для него очень важно было распространять сочинения, в которых осмеивались его враги и в которых он выставлялся единственным достойным пастырем Христова стада; здесь дело шло не об одном удовлетворении самолюбия: сатиру Кантемира Феофан выставлял как щит от врагов, которые достойнейшего из пастырей, дивного первосвященника не переставали выставлять еретиком, волком, а не пастырем. В собраниях, на вечеринках люди, относившиеся к Феофану и врагам его одинаково с Кантемиром, читали сатиры последнего. Однажды были гости у невского архимандрита Петра Смелича; в компании были синодальные члены; певчие пели концерт; потом Третьяковский вынул тетрадь и подал ее Феофану, который велел читать вслух: то была сатира Кантемира с выходкою против "Камня веры" Яворского. Отсталые люди, враги Феофана и науки, говорят:

Казанье (проповедь) писать - пользы нет нималой меры:/ Есть для исправления нравов Камень веры.

Мы видели вражду между Стефаном Яворским и Феофаном Прокоповичем, причем первый упрекал второго в еретичестве. Петр Великий старался тушить эту вражду, зная, что обвинение в ереси есть обыкновенное оружие, которое употребляют духовные лица в борьбе друг с другом, что сам Стефан был обвиняем в ереси константинопольским патриархом; не выдавши Яворского византийскому патриарху, Петр был последователен, не выдавши Прокоповича Яворскому. Последний умер, не выдавши издания своей книги "Камень веры", написанной в укрепление православия среди опасностей, которые грозили ему от наплыва иноверных наставников с Запада: "Приходят к нам в овечьих кожах, а внутри волки хищные, отворяющие под видом благочестия двери всем порокам. Ибо что проистекает из этого нечестивого учения? Убивай, кради, любодействуй, лжесвидетельствуй, делай что угодно, будь ровен самому сатане по злобе, но только веруй во Христа, и одна вера спасет тебя. Так учат эти хищные волки". Говорят, что подобные выходки против протестантов в "Камне веры" заставили Петра запретить ее издание, чтоб не возбудить религиозной вражды, вовсе не соответствовавшей целям преобразования. Но по смерти Петра взгляды переменились, Феофан подвергся опале по обвинениям в неправославии, поднялся вопрос о восстановлении патриаршества, и если бы жив был Стефан Яворский, то, по всем вероятностям, патриаршество и было бы восстановлено, хотя бы на столь же короткое время, как и гетманство малороссийское; мы уже говорили, что неимение достойного лица служило важным препятствием восстановлению патриаршества. Георгий Дашков был архиерей не ученый и не монашеской жизни; Феофилакт Лопатинский был архиерей ученый, но также не монашеской жизни, без силы и серьезности в характере, человек близкий к Яворскому, поклонник его и вместе приятель Прокоповича, хотя

и был убежден в его неправославии. На Феофилакта вместо патриаршества возложили тяжелое поручение, послужившее для него источником бед, - поручили издать книгу Яворского "Камень веры", и мы видели, как дело шло чрез Верховный тайный совет и как долго Феофилакт приготавливал книгу к изданию. Наконец книга была издана в 1728 году, а в следующем году явился разбор ее в лейпцигских ученых актах (acta eruditorum). Протестанты не могли равнодушно отнестись к этой книге: на восточную церковь они смотрели как на союзную себе, рассчитывая на одинакие враждебные отношения к католицизму; протестанты в польских областях обращались постоянно к русскому правительству с просьбою о помощи, выставляя единство своих интересов с интересами православного народонаселения в Польше. Преобразование, привлечение множества протестантов в русскую службу, церковные перемены могли возбудить самые сильные надежды по крайней мере на постепенное усиление протестантского направления в России, на постепенное исчезновение того, что в глазах протестантов было суеверием и человеческим вымыслом. И вдруг в России выходит книга, направленная против протестантизма, и, что всего хуже, автор ее мирволил католицизму, умолчал о различии между русскою и римскою церковью и брал против протестантов оружие у католических полемистов. Значит, отношения извратились; русские духовные вступают в союз с западною церковью против протестантизма. Вслед за лейпцигскою рецензиею появилась против "Камня веры" целая книга, приписанная известному ученому Буддею; в 1731 году богослов Мосгейм издал диссертацию против одной главы из "Камня веры" - О наказании еретиков. Протестантское движение вызвало католическое: если протестанты вооружились против книги Яворского как полезной католицизму, то католики должны были вооружиться для поддержания союзницы, и доминиканец Рибейра, находившийся в России при испанском посланнике герцоге Лириа, написал сочинение против книги Буддея, в защиту книги Яворского.

Но если книга Яворского возбудила такой интерес между протестантами и католиками, то понятно, что полемика, завязавшаяся по ее поводу, должна была возбудить сильное внимание в России, где к общему интересу присоединялся еще интерес личный. Стефан Яворский был обруган в книге Буддея, а имя Стефана было теперь священным именем для известного кружка людей, противоположного той "ученой дружине", которая считала своим главою Феофана. Рецензент лейпцигских актов противопоставил Лопатинскому, решившемуся издать такую нелепую книгу архиерея новгородского, мужа ученого, благоразумного и умеренного, который не одобрил книги. Лопатинский рассердился, решил отвечать на книгу Буддея и высказывал подозрение, что эта книга вовсе не принадлежит Буддею, а написана Прокоповичем. Но время препираться с протестантами и ссориться с преосвященным новгородским было выбрано самое дурное. Анна воцарилась и самодержавствовала; люди, не любившие Феофана и уже по этому самому сочувствовавшие направлению Яворского, были в опале, не имели никакой силы; русские люди, получившие теперь значение

как главные виновники уничтожения голицынского замысла, князь Черкасский с товарищи, должны поддерживать своего ревностного союзника Феофана, который имеет еще других, более сильных защитников; Бирон, Остерман. Левенвольды, Миних - все протестанты и потому, конечно, будут против книги Яворского, но они должны действовать хитро: императрица религиозна и предана вере отцов: манифест 17 марта не был делом притворства с ее стороны; немцы не пойдут прямо сами затрагивать эту сильную струну, они могут легко действовать через русских, которых заступничество за Феофана и советы потушить дело, могущее волновать верноподданных разных вер и наций, Анна не могла заподозрить.

Феофилакт написал "Апокризис, или Возражение на письмо Буддея". Но для издания книги нужно было высочайшее соизволение. К кому же Феофилакт обратился из Твери в Москву для его исходатайствования? К князю Дм. Мих. Голицыну! Князь отговаривался болезнью; тяжело было для его самолюбия признаться, что не может исходатайствовать ничего при дворе, особенно в самом скользком деле, и он говорит посланному от Феофилакта, зачем тот спешит с своим сочинением, если написал, то пусть исправляет; ученый князь приводил в пример св. отцов, которые, написавши книги, долго их исправляли, и преосвященный Стефан долго исправлял "Камень веры", и напечатана она после его смерти. Феофилакт обратился к известному архимандриту троицкому Варлааму, духовнику императрицы. Феофилакту вызвали в Москву, он был во дворце и получил позволение писать на Буддея, но потом его снова потребовали во дворец и обязали под смертным страхом не писать на Буддея. Сам Феофилакт так объяснял дело: "В бытность его во дворце приехал друг новгородского преосвященного, князь Ал. Мих. Черкасский, и знатно, что, по наговору одного архиепископа, князь о том разговорил ее императорскому величеству. И все это препятствие учинилось старанием преосвященного новгородского".

Лопатинскому запретили писать в защиту Яворского, но какой-то протестант написал против него и пустил рукопись под заглавием "Молоток на Камень веры", где Яворский выставлен католиком, иезуитом и вся его деятельность представлена в черном свете. Автора "Молотка" не отыскивали, но отыскивали людей, участвовавших в переводе книги Рибейры на русский язык, двоих архимандритов и членов Синода - новоспасского Евфимия Коллети и ипатьевского Платона Малиновского. Феофан Прокопович, раздраженный тем, что в книге Рибейры было указание на его склонность к протестантизму, считал, что люди, решившиеся перевести такую книгу и посвятить ее императрице, принадлежали к партии его заклятых врагов, не дававших ему покоя доносами, пасквилями и подметными письмами; с своей стороны он решился употребить последние усилия, чтоб вскрыть и низложить эту партию, и для этого воспользовался выходками в книге Рибейры против сильных в России иностранцев-лютеран, чтоб связать свои интересы с их интересами и заставить их

помогать себе. Он донес императрице, что действуют все люди одной партии: некоторых сослали, но другие - "того же гнезда сверчки, сидят в щелях и посвистывают, и дал бы бог изыскать их и прогнать". О книге Рибейры Феофан доносил; "Иностранных в России мужей ругательне нарицает человечками или людишками и придает, что Русское государство их питает, а церковный закон оными гнушается. Видно, *на кого* он за пропитание иностранных в Российском государстве нарекает! Всех сплошь протестантов, из которых многое число честные особы и при дворе, и в воинском и гражданском чинах рангами высокими почтены служат, неправдою и неверностью помарал, из чего великопочтенным особам немалое учинил огорчение". Феофана, архиепископа новгородского, почтив титулою премудрейшего, коварно порицает склонностью к протестантам за то, что он в некоем слове своем назвал Буддея зело ученым человеком. А Феофилакт, тверскому архиепископу, сочинил похвалы следующие: "Феофилакт Лопатинский, тверской архиепископ, премудрейший в школах и, по моему известию, преострейший богослов, в епархии предобрейший пастырь, в Синоде правдивейший судья, во всей России из духовных властей прелюбезнейший. Необычайная похвала, - продолжает Феофан, - да еще тому, с которым Рибейра, сколько мы ведаем, редко когда и видался". Во утверждение того, что будто восточного исповедания люди благосклонны к исповеданию римскому, пишет следующее: "В России случилось мне и с премудрейшими немало число иметь беседы, между которыми едва одного мог бы я познать, что католикам он весьма противен. Мудрии греки не гнушаются латинами, но еще священнослужения их почитают, якоже когда и самую я отправлял св. литургию в великом монастыре Троицком, тогда там благоговейнейше предстоял архимандрит со многими, о чем тысячекратно свидетельствовать буду. Подлинно се не рядовое вранье, - замечает Феофан, - и, по моему известию, является, что Рибейра своим или чужим намерением под видом добротной к исповеданию нашему защиты насеял многое число вредных плевел к раздражению иностранных народов на российский народ и к междоусобной внутренней в народе российском смуте".

Коллети и Малиновский посажены были в Петербургскую крепость. По делу о пасквиле на Феофана привлечены были в Тайную канцелярию два монаха - Иосиф Решилов и Иоасаф Макеевский, находившиеся в сношениях с Феофилактом Лопатинским, державшиеся около него в надежде, что он будет патриархом. Теперь они оговорили Феофилакта, пересказали его разговоры с ними. Так, однажды в минуту досады он сказал: "Вот здесь житье: всего бойся. Когда б можно где укрыться или хоть в Польшу уехать, если б то можно было. Я бы рад был и этому". Феофилакт проговорился, что у него есть тысяча рублей свих денег, лежат у купца Корыхалова. "У меня они положены на свою нужду, - говорил он, - не дай бог какой на меня беды или сошлют в ссылку - Корыхалов не оставит". По поводу Стефана Яворского Феофилакт говорил: "Много претерпел он от Федоса (Яновского), и когда б та змия больше на своем престоле посидела, то б больше скорпий высидела. И новгородский

архиерей Феофан, хотя мне и друг, их же, лютеранскую, сторону держит". По поводу речи о дурном воспитании Петра II Феофилакт хвалил старого учителя Зейкина как человека благочестивого: "А ныне имеется учитель. Остерман, да и того Долгорукие, чтоб не часто ему с его величеством видеться, устранили. А хотя б он, Остерман, и всегда был при государе, однако в наставлении благочестия нечего доброго надеяться, потому что он лютеранской веры. Надобно бы его величеству о том советовать, да некому. Я б и рад, да не смею. А св. Синоду согласиться невозможно затем, что преосвященный новгородский и сам лютеранский защитник и с ними ж только знается". С поднятия тревоги по поводу "Камня веры" робкий Феофилакт был в постоянном страхе. "Спать не могу, - говорил он, - во сне пугаюсь и наяву всегда боюсь, боюсь, чтоб кто заочно не обнес императрице, знаю, что императрица милостива, только женское сердце пуще мужского". Страх не был напрасен: в 1735 году его вытребовали в Петербург и начали томить допросами.

Через год с чем-нибудь после приезда Феофилакта в Петербург умер Феофан 8 сентября 1736 года, только 55 лет от роду. Феофан не признавался своим, что "во сне пугался и наяву всегда боялся", но сильные тревоги в борьбе, которая могла кончиться низвержением и заточением, сильное умственное напряжение в отыскании средств к защите и к предупреждению врагов должны были истощить его, тем более что эти тревожения начались и продолжались безостановочно, когда Феофану было уже 45 лет - возраст, в который для продления жизни нужно увеличение спокойствия, а не тревог; притом надобно заметить, что Феофан не отличался умеренностью, любил хорошо пожить и потому так вооружался против "ига неудобноносимого", которому подлежал по своим обетам. Говорят, что, почувствовав приближение смерти, Феофан приставил ко лбу указательный палец и сказал: "О, глава, глава! Разума упившись, куда ся приклонишь?" Слова знаменательные в устах вождя ученой дружины, которая с таким страстным увлечением бросилась упиваться разумом, но вот вождь дружины, "дивный первосвященник", в страшную предсмертную минуту задает себе вопрос: куда приклонится голова, упившаяся разумом, достаточно ли этого упивания для человека?

По смерти Феофана объявлен был высочайший указ, "чтобы которые были служителями новгородского архиерейского дома, то оные б не разошлись никуда, а были бы все при том доме, а особливо те ребята, которые в доме его учились, чтоб оные учились по-прежнему и были б содержимы в таковом же довольстве, как и при живом архиерее. А учителю или надзирателю, который к ним приставлен, приказать, чтоб он их обучал и смотрел за ними не леностно". Впоследствии Кабинет представил об этой школе императрице, что Феофан "при жизни своей особливим своим тщанием, собирая сирот, учредил семинарию и содержал оную в весьма добром порядке со многим иждивением своего персонального имени; при кончине же жизни своей во всем оставшемся по нем имении учредил наследниками вышеозначенных из сирот-семинаристов в рассуждении том,

что когда из тех семинаристов кто по окончании наук определится куды к делам, дабы оный тем данным ему награждением мог себе озаботиться постройкою двора и завести домом, чтоб от скудости не оставил своей науки". Кабинет ходатайствовал об исполнении желания покойного Феофана "в рассуждении его верной и ревностной службы, и особливо, что он так добропорядочно из сирот семинарии содержал и немало их обучал в пользу государственную". Императрица согласилась и поручила исполнение дела князю Ал. Мих. Черкасскому, *приятелю* покойного.

Судьба лиц, страдавших из-за Феофана, не облегчилась по его смерти, потому что за Феофаном стояли другие, более сильные лица, считавшие вредными для себя стремления врагов Феофановых. В 1738 году Феофилакт Лопатинский за "злоумышленные, непристойные и продерзостные рассуждения и нарекания" лишен архиерейства, священства и монашества и заточен в Выборгский замок, куда никого к нему не пускали, бумаги и чернил не давали; на содержание его отпускалось по гривне на день. Коллети умер, как видно, в крепости; Платон Малиновский лишен архимандритства, священства и монашества и под именем Павла Малиновского сослан в Сибирь.

Торжество Феофана над противниками и неоспоримое первенство его в Синоде дали возможность строго проводить те меры относительно духовенства, которые были предписаны в эпоху преобразования, меры благодетельные, за которые нельзя было подвергнуться упреку в протестантском направлении. В сентябре 1732 года Синод предписал наблюдать прежние строгие меры относительно поведения монахов, особенно относительно отпуска их из монастырей; Синод объясняет свой указ тем, что многие монахи, презрев обязанности своего звания, не только внутри монастырей не очень исправны, живут не по обещанию, но, исходя самовольно из монастырей (что есть самая непростительная продерзость) и скитаясь без нужды по разным местам, ведут себя бесчинно, и те, которые должны всякими добродетелями нелицемерно украшать себя к созиданию церкви, - те злообразием дел своих подают соблазн к развращению, нимало не помышляя, что чрез них хулится имя божие". В следующем году Синод запретил постригать в монахи находящихся при школах студентов прежде трехлетнего искуса. В 1734 году запрещено белому духовенству принимать к себе монахов не только на житье, но и для ночлега. и на самое короткое время, потому что ныне, говорит указ, являются чернецы повсюду своевольно бродящие. В том же году Феофан объявил Синоду указ императрицы, чтоб не постригать в монахи никого, кроме вдовых священнослужителей и отставных солдат: архиерей, допустивший нарушение этого указа, должен был платить 500 рублей штрафа и монастырские власти - подвергаться расстрижению и ссылке на каторжную работу. Почему указы Петра Великого требовали таких строгих подтверждений, видно из следующего: в 1731 году известный нам Иоасаф Макеевский, архимандрит Бизюкова монастыря, вместе с известным нам также Иосифом Решиловым поехали погулять в монастырское сельцо

Сергиевское и взяли с собой шестнадцатилетнего певчего архиерейского Алексея Давыдова. Отцы, подгулявши, нарядили Давыдова в монашеское платье, в котором он им показался очень красив; тут пришла им мысль сделать сюрприз преосвященному Феофилакту, постричь на самом деле Давыдова, и на другой же день он был пострижен под именем Алимпия. Феофилакт действительно удивился, увидав перед собою шестнадцатилетнего монаха. "На что ты, сударь мой, постригся: ты еще молод и совершенно монашеского чина понести не можешь", - заметил ему добрый архиерей, и этим дело кончилось. Стремление восстановить и развивать меры Петра Великого относительно монастырей продолжалось и по смерти Феофана: в 1738 году императрица издала наказ Синоду, как составить инструкцию для управления Троицкого Сергиева монастыря. По этому наказу архимандрит должен был хранить весь древний церковный порядок благочиния, не смел ничего переменять, иконостасов и утвари не переделывать, но так как правительство имеет особенное старание о снабжении церковей учеными священниками, ибо простой, подлый народ от невежества впадает во всякое зло, а учение есть семя премудрости и благодати божией, всеваемое духом святым в сердца человеческие и от него все добродетели рождаются и процветают; так как необходимо нужно, чтоб в государстве священнический чин просвещен был божественным учением для преподавания слова божия, для искоренения богоненавистных страстей, нечестия, всякого злодеяния, для обращения неверных - мордвы, чуваш, черемис, которых легко привести в веру Христову, если б были учительные священники и архиереи о том старались бы, то императрица повелевает немедленно в Троицком монастыре завести семинарию для обучения латинскому, греческому и, если возможно, еврейскому языку, начав от грамматики даже до риторики, философии и богословия, а для того набрать учеников до 200 человек. Потом близ Троицкого монастыря построить сиротский дом или определить из женских монастырей для воспитания малолетних сирот и принятия заторных приносных младенцев. Относительно управления монастырем и его громадным недвижимым имуществом наказ велит переменить одноличное управление на коллегиальное: 12 соборных монахов вместе с архимандритом составляют правление монастыря и решают дела на письме, и все подписываются, как в коллегиях и канцеляриях; без общего суда архимандрит не должен никого наказывать телесно, не может наказывать и переменять соборных монахов. В описываемое время всех монахов в 708 монастырях считалось 7829; монахинь в 240 монастырях - 6453. Число крестьян, которыми владело черное духовенство, простиралось до 758802.

Распоряжения Петра восстанавливались и относительно белого духовенства: в 1732 году возобновлено было запрещение светским людям допускать в свои дома, призывать и определять для исправления каких-либо треб священников, дьяконов и церковных причетников без ведома духовного правительства, ибо Синод сообщил Сенату, что в домах разных чинов людей и у знатных особ явились *продерзатели*, которые или самовольно оставили свои церкви, или, будучи обвинены в тяжких преступлениях,

бежали от суда, или не только епархиальными архиереями, но и самим Синодом запрещены и даже совершенно от священства отлучены, а иногда даже и никакой степени священства не имеют. В 1739 году Синод получил указ императрицы, в котором говорилось, что хотя на первое время и трудно сделать, чтоб при всех церквах были ученые священники, по величине государства, по множеству приходских церквей, которых по последним ведомостям показано до 16000, однако по крайней мере надобно выбирать в священники таких, которые бы закон христианский основательно знали, к чтению св. писания прилежали и по возможности рассудить могли, что читают. Но известно, что теперь не только таких священников, не при многих церквах и никаких нет, потому что старые священники померли, другие за вины и непорядочную жизнь отлучены, а между тем люди без покаяния и причастия помирают, в отдаленных от церквей местах принуждены жить без брачного венчания в церкви. Синод должен всюду послать указы ее величества, чтоб приходские люди по сущей справедливости и по совести выбирали ко всякой церкви на одно праздное место по два или по три кандидата, которых архиереи должны свидетельствовать относительно разума, научения закона, прилежания к св. писанию и беспорочной жизни, а потом не меньше трех месяцев всех этих ставленников архиереи должны содержать при своих домах или в ближних городских монастырях и довольствоваться пищею, а между тем ученые священники обучают их заповедям Божиим, преданиям церковным и прочим обязанностям священника с толкованием св. писания, в чем состоит закон христианский и проч., и каждую неделю всех их архиереи сами экзаменуют, а между тем наблюдают за их поведением. Так как после генеральной переписки церковников и их детей не только не убавилось, но прибыло с лишком 57000 человек, то из такого множества при должном рдении архиереев не только можно при всех церквах поставить добрых священнослужителей, но можно и выбрать молодых людей в школы для обучения высшим наукам. Притом должен Синод наиприлежнейшее попечение иметь, чтоб во всех епархиях неотменно были учреждены семинарии. Этот указ огорчил Синод: от него требуют наиприлежнейшего попечения об образовании духовенства и тем косвенно упрекают в недостатке попечения, тогда как не его вина, что со стороны епархиальных архиереев *он* не находит никакой помощи в этом деле. Огорчение Синода высказалось в его указе, разосланном архиереям, чтоб немедленно были определены ученые священники или иеромонахи для обучения ставленников и чтоб немедленно же дано было знать в Синод, кто определен или где таких священников не найдено; в указе говорится: "Хотя об учреждении семинарий и многие указы по епархиям посланы, однако старание об этом обнаруживается в некоторых местах не только слабое, но почти и никакого, а почему - неизвестно; вина такого нерадения падает преимущественно на *главную духовную команду*, а потому виновные "хотя то и явственно видят, обаче толь отважно и нечувственно пребывают, как бы собственного их долга в том нимало не зависит".

В 1736 году турецкая война потребовала усиленного набора, и велено было из синодальных и архиерейских дворян, монастырских слуг и детей боярских, также, из священнослужительских и причетнических детей набрать 7000 человек. В следующем году велено было переписать всех священнослужительских и причетнических детей, и которые из них будут от 15 до 40 лет - всех взять в военную службу без разбора, но потом вышел дополнительный указ: находящихся в школах и кончивших в них курс в военную службу не брать, а поступить с ними следующим образом: которые кончили курс и пожелают быть в духовных чинах, таких тотчас к местам определить и накрепко приказать, чтоб они во все воскресные дни предики сказывали и наставляли народ в хорошей жизни; кто из них в духовном чине быть не пожелает, таких отсылать к губернаторам и воеводам для определения в гражданскую службу, где они, увидев в тех делах практику, могут знатные чины заслужить. Непонятливых в науках долго в школах отнюдь не держать, но брать их в военную службу, чтоб на таких глупых или ленивых людей напрасно расходы и другим трудолюбивым людям в их науках препятствия от них не было. В 1738 году киево-печерский архимандрит с братиею представил Синоду, что монахи из польских областей, честные и ученые, убегая от нестерпимого униатского гонения, приходят с мольбою принять их в Лавру, в противном случае, возвратившись в Польшу, они должны будут сделаться униатами. На это представление последовала резолюция кабинет-министров: принимать таких, которые знают латинский язык и хорошей жизни, чтоб могли быть учителями школ и производиться в высшие духовные чины. Относительно стараний об улучшении материального быта белого духовенства можно привести только представление Синода в Сенат об увольнении его от постоев и нехождении в ночные караулы и другие полицейские наряды. Сенат отвечал указом - не ставить постоев на тех дворах духовенства, где оно само живет; дневать и ночевать на съезжие дворы, и к офицерам в дома для работ и посылок, и к колодникам для караула духовных лиц не спрашивать, чтоб в церковной службе остановки не было, а караулы к рогаткам и хождение на пожары исправлять им с прочими нарядом.

Священники должны быть учительны, ибо от этого прежде всего зависит улучшение народной нравственности, кроме того, это необходимо для истребления раскола и суеверий. Против раскола продолжают прежние меры. В 1732 году Сенат приказал с записных раскольников - с купечества сверх обыкновенных платежей брать еще по столько, сколько кто платит подушных денег в гильдиях, с крестьян брать по семи гривен, с разночинцев - по рублю двадцати копеек, а с женщин - половину. По прежним указам у записных раскольников детей должны были крестить православные священники и восприемниками быть православные же люди, и отцы обязывались присягою детей своих, крещенных православными иереями, раскольнической прелести не учить, в семь лет представлять к исповеди и причастию и венчать их по чину церковному; также записной раскольник обязывался и посторонних никаким образом к расколу не

привлекать. На этом основании велено было теперь доставить ведомости о раскольниковых детях для удостоверения, исполняются ли приведенные указы. При Петре Великом, как мы видели, посылались опытные люди для увещания раскольников; тогда эти увещания ограничивались областями Европейской России, но раскольники, избегая преследований и увещаний, давно уже проложили дорогу на северо-восток, к Уральским горам и за них. Татищев, принявши в управление горные заводы, дал знать, что около Екатеринбурга число раскольников очень велико и близ заводов Демидова, в лесу, есть раскольнические пустыни, где находится корень суеверия, и требовал присылки опытного и ученого священника для увещаний. Синод распорядился отправлением туда из Москвы от церкви Трех Святителей, что у Красных ворот, священника Ивана Федорова, известного своим искусством спорить с раскольниками: он должен был отправиться в Екатеринбург на три года, по прошествии которых сменял его другой священник. Но Федорову не хотелось ехать так далеко и на такое долгое время; он обратился к своему духовному сыну генералу и кавалеру Григорию Петровичу Чернышеву, нельзя ли избавить от посылки в Сибирь; тот написал письмо Феофану Прокоповичу, что Федоров "за всеконечную свою древностию при объявленном деле уже пользы показать никакой не может". Чернышев отыскал в одном из своих сел священника, который мог заменить Федорова, именно Тимофея Ипатиева, который обучался в Новгороде словенороссийской грамматике и прочему учению и потом сам обучал в Рязани церковнопричетнических детей и теперь охотно ехал в Екатеринбург. Преосвященный Феофан объявил в Синоде, что, "по его мнению, по требованию его превосходительства учинить можно, уволив от посылки отца его духовного и послав священника Тимофея Ипатиева, который, как человек ученый и притом желающий ехать весьма охотно, может отправлять повеленное указом, нежели под неволею посланный".

Мы знаем также, что кроме Востока много раскольников бежало на Запад, за польскую границу. Когда в 1733 году русские войска вступили в Польшу и остались там на несколько лет хозяйничать, то открылась возможность сыскать посредством них всех беглых, как православных, так и раскольников, и возвратить в Россию на прежние места жительства. Раскольников, которые могли указать, откуда они бежали, возвращали на прежние места; которые же объявляли, что не помнят, чьи они и откуда, тех велено было селить в Ингерманландии по разным деревням понемногу, а не в одном месте, причем разведывать, кто между ними наставники и учителя, как будто для того, чтоб определить их к ним по-прежнему, но как скоро они укажут, то всех наставников и учителей забрать под крепкий караул. Сначала для избежания неудобства и издержек дальней рассылки хотели поселить возвращенных из Польши раскольников на Украине, но потом раздумали по следующим причинам: 1) около тех мест находятся козаки донских городков, из которых многие склонны к расколу, и опасно, чтоб вновь поселившиеся раскольники не совратили козаков или чтоб не перешли за границу, как уж был пример, что многие, ушед за турецкую

границу, живут там и для других пристанищем служат; 2) украинская линия сделана и ландмилицкие полки селятся на ней для защиты государства от неприятеля, а от раскольников не защиты, а всякой противности опасаться надобно; также они могут совращать людей из ландмилиции, принимать беглых и к расколу приводить.

Татищев ловил в лесах раскольничьих монахов и монахинь и отсылал к тобольскому архиерею для размещения по монастырям, но архиерей писал в Синод, что раскольники с дороги почти все разбегаются: одна монахиня так искусно притворилась мертвою, что ее положили в гроб, снесли в убогий дом, откуда она была выпровожена живая одним из своих единоверцев; в монастырях, по мнению преосвященного, держать их ненадежно, да и опасно, чтоб они, разбежавшись в мирские жилища, большого вреда православным не оказали. Сенат подал доклад в Кабинет, что так как монашество их раскольничье не важно, то лучше содержать их при горных работах или ссылать в Рогервик, с чем Кабинет и согласился.

С противоположной, самой южной границы пришла также жалоба на раскольников: в 1738 году астраханский епископ Илларион доносил в Синод, что гребенские козаки, несмотря на троекратное увещательное к ним послание, упорно остаются по примеру отцов своих и дедов при двоеперстном сложении креста, молитве и прочем суеверии. Синод отвечал указом, чтоб преосвященный возымел особенное прилежноусердное радение об увещании оных суеверцев и отправил для того немедленно из духовных персон человека ученого и искусного.

Синод требовал от архиереев прилежноусердного радения об увещании раскольников, но в 1737 году рязанский архиепископ Алексей донес Синоду, что из присланных в его епархию раскольников и раскольниц некоторые обратились, а другие в своем заблуждении пребывают и увещаний его, преосвященного, не принимают, затыкая уши свои, аки аспид глухий, и притом ему, преосвященному, при старости своей зело трудно иметь много разглагольства с ними, а потому не лучше ли смирать их постом и стегать плетью. Синод отвечал: "Раскольникам наставление чинить не инако как по-пастырски, словом учительским, и за трудность оно не почитать, ибо всякое дело труду есть подлежательно, а кольми паче надлежит приложить труд свой о человеке, гиблющем душою, к чему его преосвященство призван и таковым характером почтен".

В описываемое время правительство узнало, что раскол, непризнание многими русскими людьми авторитета церкви, повело уже, и довольно давно, к самым крайним результатам. Когда учение церкви признано неправильным, когда человек предоставлен, таким образом, самому себе при решении религиозных вопросов, то, естественно, является множество толков. Но как же тут успокоиться, добратся истины, как решить, который толк правильнее? Человек теряется в этом разноречии и, не находя успокоения, стремится привести себя в непосредственное сообщение с

божеством, почерпнуть истину в самом источнике, зная, что первоначально истина была добыта этим путем: сам бог воплотился для возвещения истины, и потом дух св. сошел на апостолов, чтоб наставить их на всякую истину. Как выражается стремление войти в непосредственное сообщение с божеством, это зависит, разумеется, от среды, в которой происходит явление. Русский раскол должен был дойти до этих крайних результатов естественным путем, и потому нет никакой нужды предполагать какого-нибудь чуждого заморского влияния или относить начало явления к слишком отдаленным временам, опять с целью отыскать какое-нибудь чужое влияние.

В январе 1733 года управлявший Москвою граф Семен Андреевич Салтыков известил Сенат, что разбойник Семен Караулов показал следующее: в Москве есть четыре дома, где в праздники по ночам собираются монахи, монахини и разных чинов люди; из них некоторые выбираются начальниками, садятся в передних местах, другие по лавкам и, подходя к начальникам, кланяются в землю, целуют у них руки, отдают собранные деньги, и некоторые из них пророчествуют. По этому показанию Караулова, захвачено было 78 человек обоего пола, и оказалось, что наставницею у них была монахиня Ивановского монастыря Настасья с двумя другими монахинями и монахом. Составлена была комиссия для исследования этой "богомерзкой противности". В чем состояло дело, видно из такого рода показаний: полотняной Тамеса фабрики ученик Ларион Иванов объявил: был он с прочими согласными своими разных чинов людьми на сборище в доме парусной фабрики бердного дела мастера Лаврентия Ипполитова, а действие было такое: по приказу Ипполитова сели все по лавкам, а первенство имел Ипполитов; сидя, пели с четверть часа молитвы: господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас! Дух св., помилуй нас, дай нам господа Иисуса! Потом монах Иоасаф, вставши с лавки, вертелся кругом по избе с час и говорил, как бы пророчествуя, что на него сошел дух св. и им, собравшимся, дух св. повелевает иметь чистоту: холостым не жениться, девкам замуж не ходить, женатым с женами не совокупляться. После того вертелась кругом с час же Ивановского монастыря монахиня Анна Иванова и говорила о сошествии на себя духа св. и учила тому же, чему и монах. Потом тот же монах Иоасаф раздавал им разрезанный небольшими кусками хлеб, а монахиня Анна давала запивать ковшом из ведра квасу, и то они вменяли в св. причастие. В заключение Иоасаф велел им всем прикладываться к образу святителю и клясться в том, что все бывшее содержать в тайне и отцам духовным на исповеди не говорить. Старики из "согласия" ходили всюду, ловя людей, казавшихся им склонными к важным религиозным вопросам, и внушая, что надобно креститься двумя перстами, пива и вина не пить, м.... не браниться, не лжесвидетельствовать, жить степенно, с женами не совокупляться. Фабрики, соединяя людей отовсюду, очень благоприятствовали распространению "согласия".

В Варсонофьевском монастыре жил истинной веры учитель Алексей Трофимов в келье вкладчицы девки Марфы Павловой; в келье у нее собирались мужчины и женщины человек по двадцати, и Трофимов проповедовал им известное уже нам учение; он и Марфа, сидя, трепетались, потом Марфа ходила по келье с час и что-то говорила; иногда она вертелась часа с три и говорила, что дух св. сошел, чтоб присутствовавшие не боялись: и в прежние времена св. отцы тем же путем спасались. То же делалось в Московском уезде, в долгоруковской деревне Воеводиной у крестьянина Митрофана Тимофеева. В некоторых местах только молились и пели, а не вертелись, потому что такого человека не было. По окончании следствия начальники и начальницы ["согласия"] одни были казнены смертию, другие биты кнутом и сосланы в Сибирь в монастырь. Юрьева новгородского монастыря архимандрит Андроник рассказал Феофану Прокоповичу, что "согласие" ведется давно: еще в 1715 году, когда он, Андроник, был архимандритом в углицком Покровском монастыре и судьбою духовных дел, поймал он много раскольников, мужчин и женщин; главным из них был отставной московский стрелец Прокофий Лупкин, который называл себя Христом, а учеников своих апостолами; во время пения молитв на некоторых из них сходил будто бы дух св., подымало их с лавки, и ходили они скачучи вокруг по получасу и больше, а в то время клали на стол калач ломтиками и причащались им. Лупкин учил, что наступило последнее время, народился антихрист от монашеского чина. Феофан известил также Синод, что Лупкин и другой еретик, Иван Суслов, который называл себя богом, похоронены в Ивановском монастыре и могилы их пользуются особенным уважением; Синод решил, что трупы Лупкина и Суслова должно сжечь, надгробные здания разобрать, на камнях и на церковной стене надписи сгладить. От убеждения, что известными средствами человек может свести на себя духа св., оставался один только шаг к убеждению, что воплощение могло повториться. В 1730 году донской козак Мирон Елфимов выдавал себя за Христа бога; в 1733 году Ярославского уезда села Ивановского поп Иван Федоров говорил отцу своему: "Ты мне не отец: я родился во чреве матерне чрез духа св., благовестил о мне ангел, и рода я царского".

В 1737 году Синод получил указ, в котором императрица напоминала о постановлениях духовного регламента против кликуш и выражала свое неудовольствие, что в Москве в церквах и монастырях являются вновь многие кликуши, которых не только не унимают, но и дают свободу в этой притворности и шалости, сверх того, над ними и молитвы отправляются. В 1732 году сам Синод распорядился против юродивых, которые производили соблазн в петербургских церквах, но в 1739 году Синод узнал из указа императрицы, что в Новгороде явились два человека ханжей, которые летом и зимою жили в шалашах при городской стене, являя себя простому народу святыми; для прекращения соблазна повелевалось этих ханжей взять тайным образом и без всякого истязания и наказания послать в разные монастыри, а если впредь явятся подобные соблазнители, то стариков отсылать в монастыри, молодых отдавать в солдаты, девиц

молодых - крестьянок отсылать к помещикам, из других чинов - к родственникам.

Одну из причин распространения раскола правительство видело в уклонении от исповеди и причастия св. тайн, почему в 1737 году было подтверждено о ежегодном говении, за уклонение от которого велено взыскивать штрафы без всякого послабления. Но была опасность не от одних раскольников, что видно из манифеста 1735 года: "Хотя многими предков наших и нашими указами свободное отправление службы божией других христианского закона исповеданий в нашем государстве позволено, но понеже мы, к неудовольствию нашему, слышать принуждены, что некоторые тех исповеданий духовные особы наших подданных всякими внушениями в свой закон приводить стараются, того ради заблагорассудили повелеть, чтоб никто из них отнюдь не дерзали из наших подданных в свой закон превращать под опасением, что в противном случае с ними поступлено будет по нашим государственным уставам и указам".

Относительно религиозного столкновения русских людей с западными иноверцами приведем следующий случай: в 1737 году императрица получила просьбу из Ярославля, подписанную George Schustern, studiosus juris, а в русском переводе: юридический ученик. Шустерн приносил слезные жалобы на то, что ярославский городской судья и ассессор Караулов продерзостно в гостях вопреки всем правам и немецкой вольности, которую император Петр I даровал, велел его жестоко бить. "Я здесь, - писал Шустерн, - единственный иноземец во всем городе для пользы народа и российских молодых шляхетных детей и таким безбожным поступком в моей чести и добром звании оскорблен безо всякой причины, кроме спорных слов, потому что он уже давно умершего Лютера очень ругательно бранил, что я его собственными словами опровергал, и для того он призвал своих слуг и жестоко меня бил". Наряжено было следствие; Шустерн показал, что в гостях у флотского поручика Милюкова имел он разговор про Мартына Лютера, которого Караулов бранил м..., а Шустерн отвечал: "Попробуй, сделай то сам, что Лютер сделал; нам его не судить, за свои дела получит он воздаяние от бога, а был он честный человек". Тут Караулов ударил его по щеке рукою, схватил парик и бросил на пол, бил кулаком, кафтан изодрал, из горницы выбил вон, потом выбежал за ним на двор, кликнул своих слуг и приказал жестоко бить плетью, отчего он, Шустерн, лежал восемь дней в постели. Воеводский товарищ майор Иван Караулов показал, что никакого разговора о Лютере не было, но Шустерн был пьян, бесчинно шумел и говорил незнаемо какие из библии задачи, которых за недовольным его знанием русского языка не мог он, Караулов, понять, и сказал ему, что, не зная, врет, чего рассудить нельзя. Шустерн в ответ сказал, что русские дураки не знают ничего. Тут он, Караулов, пристал, для чего он русских бранит, и начал его, Шустерна, посылать вон, а Шустерн схватил его за голову, стащил парик и бросил на землю. Караулов вытолкал его вон из

квартиры и велел сослать с двора. Но потом Шустерн возвратился опять на двор и, пришедши под окно, где сидел Караулов, кричал и бранил его, называл канальею, вынул шпагу и кричал: поди сюда ко мне! Тогда он, Караулов, охраняя свою честь, взял у людей своих плеть и вышиб у Шустерна из рук шпагу, чтоб он кого в пьянстве не заколол. Свидетели показали, что не слышали, в чем состоял разговор у Шустерна с Карауловым, но видели, что пьяного Шустерна Караулов выгонял вон из комнаты, причем у них была драка, и потом видели, как на дворе какой-то человек бил Шустерна плетью. Караулов был вызван в Петербург; чем дело кончилось, мы не знаем. В манифесте 1735 года говорится об исповеданиях христианского закона - лютерском, реформатском и римском, но, конечно, никто не мог подумать, чтоб была опасность от еврейского закона, и, однако, флота капитан-лейтенант Возницын был превращен в жидовство и обрезан жидом Борохом Лейбовым; обрезание было совершено в Польше, в Дубровне. И обольститель и обольщенный были сожжены в 1738 году.

Но кроме борьбы с расколом и оборонительных мер относительно западных исповеданий принимались меры для распространения христианства на Востоке, причем имелось в виду также и укрепление украин. Обращено было особенное внимание на Казанскую губернию, наполненную инородцами. Распространение христианства между ними являлось самым верным средством для скрепления связи их с Россиею, но для христианской проповеди нужны были ученые миссионеры, которых должна была приготовить школа; и вот правительство обращает особенное внимание на усиление школьных средств в Казани. Архиепископ Сильвестр завел здесь семинарию, где было 80 учеников, и из них десять человек из новокрещеных; в семинарии был один учитель "польской нации" Свенцицкий с помощником-иеромонахом и двумя аудиторами из учеников. Семинария содержалась на сбор двадцатой части хлеба с монастырей и тридцатой с церковей; кроме того, к семинарии Сильвестр приписал 77 крестьянских дворов, вотчину одного упраздненного монастыря, которая давала 158 рублей оброка. Из этих доходов учитель получал 60 рублей в год жалованья кроме хлебных запасов; помощник его, иеромонах, "учитель словесного учения", получал по 10 рублей, аудиторы - по 4. В 1733 году новый архиепископ Иларион призвал из Киева двоих учителей: Головацкого - для богословия и Григоровича - для философии с жалованьем по 60 рублей в год, да назначенный правителем семинарии архимандрит Барутович пригласил для низших классов или школ третьего учителя - Соколовского - с тем же жалованьем, и студентов в семинарии было 121 человек. В 1736 году преемник Илариона Гавриил Барутовича уволил, Соколовского отпустил, учеников распустил по домам, оставив только две школы - синтаксику и поэтику. Синод, узнавши об этом, потребовал у Гавриила ответа, причем архиепископ "укорен был не легко". Гавриил отвечал, что ученики Соколовского явились не знающими часовника и псалтири; по этой причине и за оскудением семинарских доходов отданы отцам и родственникам для изучения означенных книг в твердость. Учитель Соколовский уволен за недостатком семинарских

доходов, тогда как низшие школы - фару и инфиму - могут обучать и студенты высших школ. Архиепископ Иларион с монастырем и церковью хлеб и оброчные деньги собирал вдвое, потому и мог содержать большую семинарию, притом же взял на нее из монастырской вотчины и заставил эти монастыри кормиться Христовым именем, но теперь не только двойного, но и настоящего оклада с монастырем и церковью благодаря башкирскому разорению собирать нельзя, и потому семинарию содержать не на что. Этим ответом не были довольны: Гавриил отозван из Казани и перемещен в Устюг, а устюжский архиерей Лука Конашевич переведен в Казань с поручением наследовать дело о семинарии вместе с казанским губернатором князем Сергеем Голицыным. В сентябре 1740 года императрица, видя, что меры, принятые при Петре Великом для распространения христианства между инородцами, не продолжаются, приказала отправить в Казань учителя Московской академии архимандрита Димитрия Сеченова для проповедания христианства; для обучения иноверческих детей учредить четыре школы: в Казани - в Федоровском монастыре, в Казанском уезде - в дворцовом селе Елабуге, в городе Цивильске и в городе Царевококшайске; обучать их русской грамоте, причем смотреть, чтоб они и своих природных языков не позабыли.